

БЕШЕНЫЙ КОМИССАР

Хомутовская волость второй день рядила ямщика.

Старик Кулаев гонял ямщину лет тридцать из году в год. Выставит, бывало, старикам монопольки лошадиную порцию и вожжи в руки. В нынешнее время расходу, — окромя, как писарю сунуть, — не требовалось, но и цену подходящую не давали: смета, приказ, порядки — ни на что не похоже.

Ломался старик, ровно пряник копеешный; облупленным вишневым кнутником стегал себя по смушковым валянкам и, играя белками желтых волчьих глаз, хрипел:

— Ращету нет, прав, ей-бо, ращету нет. Тянуть, будто дело заведено, поперек обычая не хочу лезть... Нончековка одна чего стоит? Чудаки, прости господи, ей-бо... Дело заведено.

Его за обе полы заплатанной суконной поддевки тащили сыновья: Ониска и большак Савел — действительный солдат.

— Айда, тять, айда... Чо тут гавкать?

— Не хочут, не надо, — и уводили отца.

Тот еще раз оборачивался из дверей и скалил черные зубы.

— Корма ноне чего? Ковка? Дело заведено.

Собрание галчило.

Смета отдела управления и наполовину не покрывала того, что загнул Кулаев. Набивался еще ямщить Прошка Мордвин, — дело-то не дудело — обзаведенье у него никудышное и лошаденки не мудрящие, а тракт большой, не выгонит. Ну, а Кулаев возьметса, так возьметса, ни от слова, ни от дела не отступитса: одних ездовых лошадей — косяк, старинный завод!

Гнали за ним десятника.

Приходил Кулаев в черной, злой усмешке в широкой степенной развалке, — степь матушка! — обеими руками стаскивал пудовую

шапку, которую носил круглый год, расправлял масляный, низко подрубленный волос:

— Удумали?

Писарь пододвигал чернильницу, нацеливаясь строчить договор; председатель долбил щиколками в папку с надписью „Целькуляры и приказы свыше“.

— Скости, Фомич. Смета, ее каким боком ни поверни, она все смета, а овса общественного пять мешков тебе наскребем.

— Скости.

— Говори делом.

— Двое ден тебя охаживаем.

— Ровно за язык повешены.

— Смета...

— Должон ты уважить.

— Овса тебе наскребем.

— Ешь и пачкайся.

Кулаев заряжал понюшкой оплывший, прозеленевший нос и трясся в чихе:

— Не могу, хошь убейте, хошь зарежьте, не могу.

Слово за слово, словом по слову, кнутом по столу:

— Не рашет, мужики. Гоню много, все бьеца, ломатца. Ни к чему приступу нету. Нонче одна ковка звякнет в копеечку.

В сенях громыхом рассыпалось пустое ведро, загрохали деревянные башмаки сторожа-беженца Франца, он зацарапался в тугую дверь и перепуганно крикнул:

— Едет!.. Бешеный едет!

Кто сидел—вскочили. Встал и председатель Утюгов, но, спохватившись, сел и, колотя звонком по столу, сказал:

— Прошу соблюдать. Чего вскочили. Всецело прошу садиться. Едет, так мимо не проедет, чай не царь.

— Царь не царь, а полцаря есть.

Потянулись к отпотевшим одинарным окнам. К крыльцу с форсом и ямщицкой удалью подлетела пара дымных лошадемок. Из возка, обитого малиновым ковриком, выпрыгнул завернутый в оленью доху комиссар Ванякин. И еще видали из окон мужики, как из Кищав-

ского прогона вывернулись верховые солдаты Ванякинского продотряда.

За зиму Алексей Савельич Ванякин научился не только телефоном орудовать или пересказывать декреты на самом простом, обывательском языке, но кое-чему и другому. И еще он, старый пьяница, переломил себя — пить бросил. От природы человеку неглупому, наделенному большой практической смекалкой, ему цены не было. На неходовой исполкомской работе тошно показалось, и он бросился в деревню, за хлебом.

Подвижной, как сухой огонь, старый пекарь Ванякин лазил по району, собирая мужицкую дань.

Никто не видал, когда он спит, ест. Прискочет — ночь-полночь — и прямо к приискателю.

— Закладывай!

— Куды на ночь глядя, окстись, товарищ, — взмолится ямщик, — лошади заморены.

— Запрягай!

— Хоть обогрейся, товарищ, бабы вон картошки с салом нажарят, а утром бог даст...

— Давай, запрягай, живо!

Переобуется, подтянет пояса потуже и поскочит в ночь.

Святками, в Старом Буяне, отмочил такую штучку, что весь тракт ахнул. Буянский ямщик—Иван Бегом Богатый—в волостной съезжей рассказывал:

— Оно какое дело, гуляли мы у свата Тимофея на свадьбе. Пир у нас колесом. Пьем, поем и в чушечку не дуем. Глядь, прибегает моя старуха с возгласом: „Приехал, принес его налетный“. — „Кто такой, кого нелегкая принесла?“ — „Бешеный комиссар, бат, приехал, лошадей зычет“. — „Отвори ему дурную-то рожу, — кричу я из-за переднего стола, — большой запой справляю, а он лошадей... Пусть до завтра ждет“. — Ушла моя старуха с отказом. Много ли, мало ли время прошло, глядь-поглядь, скачет комиссар мимо окошек на моей же паре, и тулуп нараспашку. Заходит к свату Тимофею в избу: „Который тут ямщик?“ — „Я ямщик, — кричу“. Не успел я глазом моргнуть, сгреб он меня да за дверь. Иду по

двору, плачу, через два шага в третий спотыкаюсь, а он мне обнаженным наганом и тычет под ребра: „Садись,—говорит,—экстренно на козлы, держи вожжи“. Крик, шум, выбегают за ворота мои сроднички с кольями, с вилами, а он, из нагана-то, как пальнет, пальнет, лошади-то как хватют и понесли и понесли... Да-а, туды его мать, пошутил: не чаял я от него и живым вырваться.

После этого случая ни один ямщик не отваживался перечить и ночь-полночь мчал беспокойного седока, не радуясь и чаевым, на которые тот не скупился.

Скрозь тянул слух, что к богатым мужикам Ванякин особенно немилостив: деревня боялась его, как огня плящего, и не было дороги, где бы его не собирались решить, но он только посмеивался и отплевывался подсолнухами: семечки грыз и во время речей, и на улице, и в дороге, не стыдясь ни мороза, ни ветра.

За крутой характер, за семечки и любовь к шибкой езде деревня окрестила его „Бешеным комиссаром“.

Ванякин крепко хлопнул дверью, от порога поздоровался и начал отряхиваться,—на плечи намерзло снегу на аршин,—потом прошел вперед, бросил портфель на стол:

— Мир честной кампании.

— Поди-ка добро жаловать.

— Милости просим.

— Заседаете?

— Заседаем, туды ее мать, Лексей Савелич, заседаем... Жизни не рад будешь от этих самых заседаний.

Утюгов разгладил по столу смету с оборванными на раскурку краями и сердито поглядел на всех:

— Домашний вопрос мусолим. Как говорится, на печке заплутались, в ложке утонули... С ямщиком вот маята, никак не урядим.

Закричали, замахали рукавами.

— Смешки да хахоньки...

— Дом ждет.

— Ровно в бирюльки играм.

— Овес, а где его взять, спрашиваца?

— Ни што.

— Нонче его, овес-то, жаром весь покрутило.

— Ты ба нам, товарищ, резалюцию какую похлеще вlepил... Пра.

Председатель покосился на Ванякина, обиравшего с оттаявшей бороды подсолнечную шелуху, и строго зашипел:

— Чшш... Начальнику продотряда, Алексей Савельчу Ванякину, даю полное и решающее слово по текущему вопросу в порядке дня.

Засмеялись:

— Какой это день, вторые сутки дябем.

— Лачим, не улачим.

— Ровно мордовску невесту сватам.

— Овес, гыт, а где его...

— Тьфу, истинный господь...

— Смех с нами, с дураками.

Ванякин мельком заглянул в смету, подманил Кулаева и уцепил его за концы бордового кушака:

— Ты советску власть признаешь?

Старик попятился:

— Пожалей, кормилец, у меня семьи тридцать шесть чел'эк... Гоню много, тракт боль-

шой, ноне ковка одна и та в гроб вгонит, дело, будто, заведено и тянись по дурости, ей-бо...

— А турецку власть хочешь признать?—
вновь спросил Ванякин.

Старик помучнел:

— Ладно, пятнадцать мешков овса и по
рукам... Што мир, то и мы, мы миру не су-
противники.

— Пиши десять,—махнул рукой Утюгов, и
писарь залился, как савраска.

Кто-то вздохнул, кто-то разрубил тишину
смехом:

— Давно бы так.

Из исполкома Кулаев вылетел, ровно из пар-
ной, и, держа в обкуренных пальцах копию
договора, будто боясь обжечься, бежал улицей
и во всю глотку без стеснения поносил ко-
миссара:

— Накачала тебя на мой горб нечиста сила...
Штоб те громом расшибло, сукин ты сын!

Ванякин, перебирая бумаги, играл каранда-
шом и расспрашивал мужиков о всячине. Те,

поглядывая друг на друга, отвечали осторожно, ровно по тонкому льду шли.

— Да ведь как живем? Живем по-советски: киросину нету и соли совсем не видать... Не завидная жизнь, иначе на власть не ропщем, планида, власть тут не при чем, это понимаем.

— Планида-то, планида,—тряхнул Ванякин портфелем,—а вот долго я буду вокруг вас венчаться?

— Еще, кажись, не сватался, а венчаться собираешься?

— Разверстку будете добром платить?

— Мы и не отказывались.

— Возили-возили, и все не в честь.

— Мыши в анбарах с голоду дохнут.

— Воженого-то нет...

— Как нет?

— Чисто девки стряпали.

— Прорва бездённа...

— Рассусоливать тут нечего,—встал Ванякин,—приказываю к завтрашнему утру созвать со всей волости и хуторов полный комплект председателей, тогда и поговорим.

- Можно.
- Почему не так.
- Опять килу чесать, припевай Гурьяновна.

Под Крещение дымная степь из рукавов дорог вытряхнула отряд по ловле дезертиров. Раскатились отрядники по квартирам, потребовали поить-кормить их досыта.

Отвалом от села, в Кольцовых хуторах, третью ночь пьянствовал отряд секретного назначения, каковой отряд и сожрал будто у Демки Кольцова годовалого бычка и двух поросят.

Хомутово состояло на плохом счету. То продработника кокнут, то телеграфные столбы подпилят, то поезд в овраг кувыркнут. А дезертиры из двора во двор. Придерживали хомутовцы и хлебец. Уповая на них, и соседние волости сетовали на порядки и тоже не торопились с разверсткой.

С осени в Хомутовский комбед подобралась, было, коренная голытьба. До поры до времени работали исправно, пищали богатеи, зажатые

в тиски контрибуций и налогов, но потом сами комбедчики, первый раз в жизни дорвавшись до легкого хлеба, зажрались и были заклеяны, как „присосавшиеся к ярлыку“. В помещении после них осталась куча искалеченных в пылу споров стульев и огромный, насквозь просаленный и провонявший самогоном шкаф; жирными пятнами реквизированного сала были забрызганы стены, потолок и папка с бумагами. На их место протиснулись кулачки, но вскоре, за немилость к бедноте, были тоже с позором изгнаны. Комбед последнего состава вышел и подходящ, да неувертлив,—его по каждому делу, как по ровной дорожке, проводили хомутовские чертоплясы. Ванякин до свету просидел у Танькà-Пронькà, куда всем причтом собрались комбедчики и ячейка. Купал их в пучинах цифр, ругательски ругал за ротозейство, научил чего завтра говорить, накидали новый список кулаков по разверстке.

— Ты, Алексей Савелич, и лаешь нас, а зря,—обиженно сказал Танёк-Пронёк, глядя мимо комиссара,—гоже из городу указы да-

вать, вам ветер в зад, сидите там, ровно за каменной горой, а гора — мы.

Смелея и озлобляясь, хомутовцы один из-за другого наперебой заговорили о том, как им в деревне вывертываться приходится.

К утру волость съехалась.

Ванякин рассказал про красные фронты, про заграничную революцию: кругом выходило хорошо, но советская власть все же пребывала в плачевном положении, потому что хлеба не хватало, а саботажу—во, хоть завались. По большим бумагам он ятно, ярусом накатывая цифры, вычитал, сколько с волости недодобрано того, другого, пятого, десятого.

Советчики крякнули:

— Мм-да.

— Последний козон на кон.

— Этак ноне.

И комбедчики дружно взяли:

— Верна!

— Чево тут жмуриться...

— С кулаков дери семь шкур, обрастут.

Председатель хмурый:

— Ну, которы, удерживайся в рамках.

Ванякин размотал еще речь и опять подвел:

— Граждане, надо учитывать критический момент республики. Попомним заветы отца нашего Карла Маркса, первоющего на земле идейного коммуниста... Еще он, покойник, говаривал: „Сдавай излишки голодающим, помогай красному фронту“.

Советчики переглянулись и полезли в карманы за кисетами:

— Надо подумать.

— Культурно подумать.

И комбедчики в голос подняли:

— Думат богатый над деньгами, нам думать не об чем.

— Давай раскладку кроить.

— Погодь...

— Хле-ееб?

— Нам ваш Карла не бог.

— Вона што...

— Мала.

Сазонт Внуков, Дубровинский председатель, встал на скамейку...

Разливался звонок, требующий порядка, снова говорил Ванякин, но все обернулись к Сазонту и разинутыми ртами ловили его распористые, как плотовые клинья, слова.

— Одно знали мы начальство — урядника... А нынче десять рук в карман тебе тянутся, да десять в рыло...

— Хха...

— Задергали...

— Вызнали в нас дурь-то.

— Урядника вам?

— Ножик вострый.

— Давай раскладку метить!

— Раскладку!

— Не торопись коза в лес, все волки твои будут, — сказал волостной председатель Утюгов, вылезая из-за стола, — по шашнадцать с тридцатки!.. Слыхано ли? Видано ли? Под корень хочут мужика валить, — страшно закричал он, выкатывая глаза большие, как яйца, — дно из нас хочут вышибать. Чово будем жрать? Чово будем сеять?

Голоса:

— Жеребца мукой кормишь.

— Первый дилектор спекуляции.

— Зачем свиней пшеницей воспитываешь?

— Не кормлю, кто видал? Докажи... Мужик ниоткуда ни одной крошки не получают, отними у него остатный хлеб, без хлеба мужик — червяк, в пыли поворошится-поворошится и засохнет... И вы в городе долго не продышите, передохнете, как тараканы морены. Все на мужичьей шее сидите... Передохнете, и тору от вас не останется.

— Так, Панфилич.

— По козырю.

— Верна!

— Долой!

Ванякин вскочил:

— Не могу я этой контр-революции спокойно переносить, и чего у вас этакий чертолом председателем сидит? Позор, товарищи! На его провокацию о семенном хлебе дам я честное разъяснение: останутся семена — посеете, не останутся — будьте покойны, власть выдаст, власть она, товарищи...

— Вот это гоже: жену-то отдай дяде, а сам иди к б...

— Благодарим покорна!

— Тишша, дьяволы!

Заорали, заругались страшенно.

И орали и ругались, выходя только за порог до ветру, двое суток.

Все село под окошками слушало.

Выплыло на свет много такого, от чего сам Ванякин ахнул. Из скупых рассказов татарских и чувашских делегатов удалось уяснить, что главную тяготу разверстки волисполком переложил на глухие деревушки, откуда уже было вывезено по двадцати пяти, вместо шестнадцати, пудов с тридцатки; там давно люди ели дубовую кору, скотины оставалось по голове на двенадцать дворов, да и та от бескормицы подвешивалась на веревки и дохла.

Списки обложения пришлось пересоставлять сызнова, и на третьи сутки выкачавший весь голос Ванякин просипел:

— Шабаш... Разъезжайся до завтра по домам, поговорите со своими обществами, ре-

шайте — добром будем делаться, или откроем войну... До завтра гони ответ!

Ушел Алексей Савелич отсыпаться, да не пришлось уснуть.

В реках слезливых жалоб, охов и причитаний приходили и уходили мужики, солдаты, вдовы с докукой, с доносами, с горьким горем.

— За хлебом по казенной цене.

— Нащел мужа узнать: в красных второй год без вести.

— За водой ушла, а твои солдаты из печки горячие хлебы вынули да пожрали.

— Инвалид, разверстку нечем платить, и пахал-то мне тесть.

— Муж бьет, есть ли такой декрет бить законную жену?

— Трех сынков на войне погатили. Не выдешь ли за них, товарищ, хошь мешок муки гарочной.* С голоду подыхаю.

— Платить невагоду, скости, яви божеску милость, мы в долгу не останемся.

* Гарочная мука удерживалась за помол и раздавалась бедноте и совслужам вместо жалованья.

— Изоська Шишакин, ярый паразит, хлеб под сараем в яме гноит, пудов дваста.

— Солдаты твои, Алексей Савелич, озаруют, Трясуновых девок голых из бани выгнали, утишь ты их.

Ванякин разъяснял, обещал, ругал, писал записки, грозил...

В избу, с расцарапанной в кровь рожей, прибежал красный милиционер Акимка Собакин:

— Товарищ комиссар, прошу вас, как идейного товарища, оборотите свое внимание: проживает у нас на селе девка Аленка Феличкина, никакого с ней сладу, отбойная девка, настоящая контра, в ударницах керенских служила, с чехом, сука, жила, самогонкой торгует, хотел я обыск, а она...

Ванякин прогнал пьяного Акимку и полез на полати спать.

А в исполкоме только еще заканчивалось собрание. Делегаты рассовывали по кисетам грамотки с разверсткой, подтягивали кушаки на дорогу и ругались:

— Заганул загадку.

— Ммда...

— Слыхали, говорил — кредитический момент, — в роде в долг хлеб-от просят.

— Знамо в долг, без отдачи.

— Жди от кошек лепешек, от козы орехов.

— Оно и правда, брать да отдавать одна путаница.

— С нас, да с нас.

— Взять вон колья, да по вилкам их, по вилкам.

— Ну, это еще кто кого...

— Мало нас, дураков, бьют.

— Эх, паренек, не вешай голову, не печаль хозяина... Давай-ка, закурим на дорожку.

— Лошадей заморили, кой день не кормлены...

Разъезжались по двое, по трое.

Мало и народу оставалось, когда в исполком прискалила старуха Кирбитьевна:

— Братушки-робятушки, чово я вам скажу, не совру... Аленка-то наша комиссарика прельстила, с места не сойти... Доси целуются-милуются, играют и поют.

Схватились:

— Мотри, Бешеный загулял.

— Похоже.

— Вот те и юридический момент.

— Ах, хапуга.

Секретаришка Куньчин заверещал:

— Что же это такое, граждане? Ништо мы будем глядеть? Ништо это порядки? Нашего брата греют, а сами пьянствуют. Нашему брату стакашку нельзя долбануть, а сами ведрами хлещут. На подобные дефекты, граждане, обратим, граждане, наше сугубое внимание.

— Ущемить его надо.

— Ущемить...

— Как?

И заскребли члены в затылках.

Немного попозже под окна Аленкиной избы подступил весь президиум и с понатыми. В избе за занавешенными окнами было глухо и темно. Осторожно в раму тук-тук.

— Эй, хозяйка!

Тихо, лунно, гневное сопенье, снежная похрусть под ногами... В избе шлепанье босых ног.

— Кто эта, кого черти по ночам носят?

— Дело срочное...

— Продовольственного комиссара ищем...

Он не у тебя тут калачи щитат?..

— Фарья.

— Нету, в глаза не видала вашего комиссара, што он и за комиссар такой.

Под окошками бу-бу-бу и опять в раму:

— Аленка, отопри.

— Хуже будет.

— Што деревню-то похабишь, бардель развела...

Голая Аленкина рука отвортила краешек шали, которой было занавешено окошко, выглянуло ее злое, белое лицо: луна в окошко.

— Полуночники, аль вам дня мало, спокою людям не даете... Не видала вашего комиссара, што он и за комиссар такой.

Утюгов остервенело забарабанил кулаками в раму:

— Отопрешь, паскуда, ай нет? Долго с тобой будем рядиться? Признаешь законну власть, ай нет? Двери высадим...

Аленка вся высунулась из-за шали и, вздернув рубашку, показала:

— На-ка вот, выкуси!

Долго бы волостная власть билась в дверь, из дуба литую, кабы на их счастье в сенях не слышались сердитые шаги и не загремел отодвигаемый болт.

На пороге их встретил, во френче и с наганом в руке, товарищ Русаков — начальник отряда по борьбе с дезертирством:

— Вы что разбойничаете?

— Ты, товарищ, убери эту свистульку, — сказал Утюгов, косясь на наган и проходя в избу, — мы ведь тоже начальство, хошь и небольшое, а начальство, хе-хе...

Все проходили в избу, крестились на передний угол, рассаживались по лавкам. Понятые кинулись искать самогон, самогону не нашли, Русаков был трезв и, ну его к чорту, сердитый. Секретаришка Куньчин, начиркавший было на чистом листе — „Протокол дознания“, кинул глазом на Утюгова, свернул бумагу и сунул обратно в рукав.

— Прощенья просим, ушибка тут вышла... Искали мы бобра, да попали на ясна сокола.

— Целуйтесь-милуйтесь, волисполком в щекотливые дела не касается...

Брались за шапки и, побрякивая, покашливая — в роде извиняясь — выходили. Аленка провожала немилых гостей. В темных сенях мужики, кой помоложе, лапали ее. Она на обе стороны хмыстала их по мордам, выталкивала и на прощанье каждого награждала таким словечком, что только: ах!.. Аленка, хоть и слыла гулящей девкой, а была из красавиц красавица: есть на что посмотреть.

За день до того дул несусветный буран, и на село набрела продкоманда по выгрузке рыбы. Дорога их была дальняя, путь держали на Шелехметь, речка там, заплутались и попали на Хомутово. У инструктора райрыбы, Жолнеровича, давно печенька смерзлась, из башлыка выглядывало его плачущее румяное лицо, и он несказанно обрадовался, когда запахло кизячьим дымом и теплом.

— Разгружайся, ребята, дальше не едем.

— А рыба?

— Хе, рыба... Полтораста пудов мы и здесь начагрим, я знаю, у них пруд есть. — За месяц до того Жолнерович наезжал в волость реквизиловать излишки кожи, саней и сбруи.

Рыбу глушили колотушками, бомбами, це-дили мордами, сетками, с илом драли. На низу, у старого кауза, мобилизованные бабы и ребяташки сортировали вымерзших и легких окуней, сорожку, щук.

— Придет весна, покушаем рыбки.

— Не горюй, кума, до весны передохнем все, вон, слышь, хлеб последний отнимать приехали.

— Грому на них, на псов, нет.

— Забыл нас господь-батюшка, царь небесный... Тришка, на-ка сунь за пазуху парочку, караськи-то больно хороши.

— Старики бают, звезд на небе и тех меньше стало.

— Быть беде.

— Ох! грехи наши тяжкие.

— Бабоньки, а слышали, будто в Марьяновке поп от сана отрекся? Напился, матушки мои, налил зенки, да и говорит: „щас пойду Миколаю угоднику шкалик на шею повешу“. Народ в страхе так и окоченел, а он, длиногривый бес, не будь дурен, да и пойди...

— О, господи, што уж это!..

— Ну?..

— Ну, вот и ну: ждять-пождать, нет его, ждять-пождать, нет... Кой-как попадья сотворила крестное знаменье и пошла в церкву-то. Глядит, а батюшка сам из себя весь серый... схватила его за руку, а она... каменная и холоднущая-прехолоднущая... Так весь и окаменел.

— О, заступница-мати, владычица...

— Быть беде, — сказала глухая старуха Ястреповна.

Вечером шли по улице оттаявший инструктор Жолнерович с милиционером Акимом Собакиным, встретили Русакова.

— Наше вам.

— Здорово.

— Всю рыбу передушили?

— Дочиста. Как ваши успехи, товарищ Русаков?

— Дела швах; дизиков, что ли, в данной местности нет? Хоть бы одного на смех поймать.

Акимка промолчал: он дизиков не пасет, у него своих обязанностей выше головы. Инструктор грязным ногтем поцарапал медную пряжку—Реальное училище—и не без застенчивости молвил:

— Чего вы дезертирами интересуетесь, не понимаю... Занялись бы лучше самогонкой, здесь ее чорт знает сколько, буквально в каждом дворе Путиловская фабрика.

И Аким словцо подсунул:

— Я и борюсь, да не помогает, мандат у меня незначительный—милиционер,—не боятся ни званья, а вы, как человек вполне официальный...

— Уху сочиним... А? Какого чорта в самом деле? Товарищ Русаков, приходите уху хлебать, ерши, окуньки, пальчики обсосете... Ну,

и перед ухой не мешало бы по наперсточку...
Не правда ли, Собакин?

— Не вино винит, пьянство.

— Вот именно.

Русаков крутил ус, перекручивал:

— А как же... с дезертирами?

— Бросьте, милейший, никуда они не денутся; вон, слышно, из города еще караульный батальон разбежался. Не горюйте, на наш век дезертиров хватит.

— Мммаа, рискнуть разве разок?

— Тут и думать нечего. Похлебаем ушицы, кувыркнем бутылочку и пойдем на спектакль: мои ребята с просветительной целью ставят.

— Вот дом с зелеными ставнями,— показал Аким,— Никанора Сусликова дом; в бане варит, на нижнем огороде, я и сам бы закатился на правах милиционера, да с жениной стороны неудобство имею, а вы, как человек заезжий...

— Сыпьте, милейший, ну, что тут такого?

— Ладно, иду!

Выбрал Русаков из своего отряда надежных ребят и пошел с обыском из двора во двор.

Пьяное веселье—бидоны, четверти, боченки—волокли из подполья, чуланов, разрывали в кучах навоза и били-колотили. К ночи над селом облаком стоял самогонный дух. Ребятам своим начальник строго-настрого приказал не пить, и они, действительно, нигде не пили, а только пробовали и так напробовались, что не помнили, где и ночевали. Сам Русаков на ногах держался крепко и помнил явственно все: хлебал уху, потом тащили его на спектакль, на спектакль не пошел, а, по совету Акимки, залился в гости к Аленке, куда и нагрянул со скандалом весь президиум исполкома... Ночь была вьюжная или тихая, дьявол разберет, а только приходит он утром на квартиру, и перепуганный старшой к нему под ноги:

— Так и так, товарищ начальник, докладываю, что секретный отряд ночью снялся и ушел в степь, в неизвестном направлении.

— Дальше?

— А еще докладываю, у нас пропал пулемет, и на весь отряд осталось две винтовки Гра.

— Куда делись?

— Не могу знать.

— Ты был пьян, мерзавец?

— Никак нет.

— Немедленно собрать людей.

— Слушаюсь.

Собрал старшой людей, выстроил, перекликал, семерых не хватало.

— Семерых недосчитываюсь, товарищ начальник.

— Куда делись?

— Не могу знать.

— Ты был пьян, подлец?

— Никак нет.

— Подойди, дыхни.

Дыхнул старшой—изо рта у него несло табаком, портянками, навозом.

Русаков схватился за голову:

— Ни чорта не пойму. Я спрашиваю, куда подевались винтовки, пулемет, красноармейцы?

— Не могу знать.

— Должно, с дезертирами уканалы,—ухмыльнулся правофланговый Косягин,—окромя им и деться некуда.

— С какими дезертирами?

— Дык, все с теми же, под боком-то у нас стоял отряд самых секретных дезертиров.

— Как дезертиров?—подбежал начальник к правофланговому,—каких дезертиров?

— Таких.

Загалдели:

— И нас уговаривали пристать.

— Сколь раз смущали.

— Чай, мы не дураки... Мы, сучий рот, проть советской власти ни в какую.

— Чего же вы меня раньше не предупредили?

— Боязно, у них леворьверы.

— Я бы и сказал, да не знал.

— Конечное дело.

Начальник раскатил залп зернистой ругани и убежал в избу, бормоча:

— Пропал, ни за что пропал... Ах, гады!

Немного погодя десятник вручил ему записку:

„Командеру дезерционного отряда, товарищу Русакову. Доношу, хозяин, где проживаете вы,

Демка Кольцов, ходит по селу и ведет недоброжелательную агитацию — сиречь — сожрали у меня годовалого бычка, две свиньи, овцу и казачье седло и когда они провалятся в тар-тарары, ни дна им ни покрышки вместе со слободой, а также сей Демка нахально не признает советску власть и предает ее за тридцать серебряников; мы за нее кровь перед чехами лили, а у него, стервеца, сын в дезертирах, а также сей недостойный гражданин контр-революционных лошадей укрывает. Нижайше прошу и призываю тебя, товарищ Русаков, сделай с Кольцовым Демкой чево-нибудь циркулирующее, а все имущество, начиная с собаки и возносясь до каурого мерина, передай в сиротские руки бедноты босой и голой, холодной и голодной.

Идейный милиционер рабочей крестьянской гвардии и армии РСФСР РКП т. Аким Собакин“.

Разбудил Русаков хозяина Демку Кольцова, за шганину стащил его с печки, запиской милицейской ему в зубы ткнул:

— Ты, что же это, дядя, предаешь советскую власть за тридцать серебряников? У меня пулемет пропал, тридцать восемь винтовок Гра улыбнулись, а у тебя сын в дезертирах? Разве так честные граждане поступают?

— Господи Сусе, господи Сусе,— протирал старик глаза спросонья,— опять напасть.

— Почему контр-революционных лошадей укрываешь? — наступал на него Русаков, — почему...

— По назлобью, сынок, на меня набрехали, по назлобью.

— Ты лучше сознайся, да отопрись.

— Дозволь, сынок, слово молвить...

— До слов ли тут? С дезертирами под одной крышей ночевал, свои люди разбегаются, пулемет, винтовочки ухлили, хоть и дрянь винтовки, не стреляла ни одна, а придется под военсуд итти. До разговоров ли тут, этакий решительный момент навалился!

— Я тебе покажу дезертиров скрывать, из-за вас, чертей, весь саботаж проистекает, а для начала, согласно губкомдезертир, конфискую-ка

я у тебя все хозяйское обзаведенье, начиная с собаки и до каурова мерина, а самого, по первому разу, заправлю в острог вшей кормить.

И горько заплакал, затрясся старик Демка Кольцов:

— Не губи, батюшка, душу крещену, всю правду поведаю.

— Согласно губкомдезертир...

— Не губи, кормилец, слова не совру.

Русаков схватился за голову и упал на табуретку:

— Давай похмелиться.

— Мы с хорошим человеком со всей нашей радостью.

С отчаянной поспешностью загремел хозяин стаканами в шкапу, выхватил из-за божницы бутылку перегону:

— Кушайте, не скисняйтесь, у нас она не куплена.

И поведал старик, Демка Кольцов:

— Секретный отряд вовсе, будто, и не секретный отряд, а сами есть секретны дезертиры из деревень Чукчеевки, Нижней Сахчи,

Вознесенки и Втулкина, наших, в роде, и не было никого, истинный господь, не было. Телка у меня годовалого сожрали, двух свиней и ружьишки ваши они же, будь им не ладно, заграбастовали, опричь некому. У пьяных, слышно, разговор был, собираются в степи лошадей у киргизов отнимать, вот им и спонадобились ваши ружьишки... Ты пей, сынок, у нас она не куплена, у нас, слава те господи... И верна, товарищ, эта разя жизнь? Вчера теленка со двора увели, нонче свинью сожрали, завтра самого к стенке, ты вон грозишь по миру пустить... Под Рождество поймала наша комбеда татарина: соли елецкой мешок вез. Соль арестовали, а на того спекулянта, несчастного татарина — контрибуцию за его же соль. Так он в амбаре и помер, а може замерз. Говорил еще перед смертью: „Холеру пережил, чуму пережил, а свободу никак не переживешь...“ Даа, остались от татарина сани с подрезами да меринок каурый. Сани бедному председателю угодили, а меринок Акимке под верх пошел, скушно полицейскому без лошадки —

догнать там кого, или воды, скажем, бочку, и ту на козе не вкатишь. Ладно... Надысь нагрянул в село самогонный отряд и прямком шасть ко мне обыском. Донос, я так думаю, и в уме не держал, какая такая самогонка, и нюхать ее не нюхал, не только-что варить. Шарили они шарили, ну и... кхе... в подпольи нашли, будто, кадушку с закваской. „Это что?“ — „Закваска, — говорю, — ничего вредного, чистый хлеб, праздники на носу — раз, плотников рядить хочу — опять двадцать пять“. — „Ах ты, такой сякой, мы в городе собачины досыта не видим, а вы бражничать? Эй, солдаты, бей кадушку, лей барду на улицу“. — „Пошто, — говорю, — добру пропадать, лей вон в корыто, свиньи скушают"... Гляжу, один супчик сыновнию емнастерку в мешок сует. „Погодь, не лапай, не купишь; сын родной Митька с вастрейского хронту привез, грабеж“. А он мне: „Прошу не оскорблять, теплы вещи для Красной армии нужны"... Был такой декрет, скажи ты мне, товарищ Русаков?

— Был.

— „Неправильный декрет, — кричит с палатей сын Митька, в дезертирах кой, он тогда дома проживал, — я раненый два раза и на емнастерку дакамент могу приставить“. А они свое: „Тепла вещь“. Дернул я за рукав, оторвал рукав: „Мать вашу так, хошь рукав да наш, годится бабам чугуны перетирать“.

Весь во власти горестных воспоминаний, старик морщился, плевался и воздымал трясущиеся руки к переднему углу, и богов призывал в свидетели:

— Дааа, хорошо... Токо мы с Митькой в бане перемылись, попарились, токо к самовару подвалились, стук-стук в окошку десятник Петра-Ворыпай: „Демьян Савич, комитет требуют срочно“. А до комитету боле версты, я только из бани, горячий человек, куда я на ветер пойду, выпча глаза? — „Ну его, — кричу, — и комитет-то ваш“. Ушел десятник, летит Акимка и прямо с разбоем, как атаман Кузьма Рошин: „Ты властям не подчиняться, кумышку гнать, дезертиров разводите? Все до последнего кола леквизирую“. Меня так и перепо-

ясало: разорит, думаю, в корень разорит, чего с собакой поделаешь?.. А Митька и виду не подал, да ему встречь: „Вы, товарищ Аким Собакин, мать твою через дугу, не разоряйтесь, и вас за машинку взять можно, я тоже солдат с вострейского хронту два раза раненый и, действительно, дезертир за кругом один, а у вас, товарищ Аким Собакин, не забудьте, родной племянничек Петька дезертир, да шурин дезертир“. Тут из-за сына и я осмелел: „Мы,— кричу,— налогу пятнадцать тысяч сдали, четыре воза хлеба на пункт отвезли, вся власть на нас держится, а вы, шаромыги, не только власти, собаке бездомной куска не бросите. У меня на двор каждая палка затащена, по солоmine все снесено“... Надолго бы нам разговору хватило, да Митька догадался, принес от свата горлодерки четверть. „Давай мириться!“ — „Давай“.— Хватили по ковшику, нас и развезло...

Русаков сборил лоб, пытался понять старика, но отчаявшаяся мысль упорно уводила его во вчерашний день, в последние ночи,— обыски,

уха, Аленка, винтовки, — как ни крутись, суда не миновать.

Старик падал грудью на стол, кричал:

— Сынок ты мой, видишь ты, какое дело? Акимка с братом делится, лесу у него на избу нехваток, а у меня анбар на задах гниет. „Давай, — говорит, — на каурого мерина менять!“. Пораскинул я мозгами: хлеба большого нет, и будет, так в землю его топтать надо, так и так ни к чему анбар. „Где наша ни пропадала, давай“, говорю. И поменяли ухо-на-ухо. Рассыпал он мой анбар, я каурого мерина в укромное место переплавил, ладно... Што ж ты, брат ты мой, думаешь? Двух дён не прошло, бежит Акимка: „Где каурый меринок?“ — „Анбар мой где?“ — „За анбар я тебе по твердым ценам уплачу, а казенного меринка вынь да выложь“. „Ищи, — говорю, — я у тебя никакого меринка не брал“. Пошарил по двору — нет, туда, сюда — нет: на нет и суда нет. Волостному председателю Акимка заявил: „Увели“, а мне пригрозил, и тебя, ангела, он, пес, натравил... Я не кулак, я средний житель... Эх, товарищ, разя

нашего брата мужика трудно обидеть? Хошь крест с шеи снимай, хоть исподники стаскивай, рук не отведем...

— Курва! Кишки из него на скалку вымотать!— брякнул, ровно глиняный черепок, глухой голос из-за печки.

Русаков вздрогнул:

— Кто там бурчит?

— Тама? Кхе, так это ж, должно, сын мой Митька, больше и некому... Митька!.. Сы-ын!..

С казенки* поднялся заспанный, босой, действительно дезертир Митька и, запустив левую руку в ширинку, не одна его тревожила, правой отдал честь.

Так и так, давно он, Митька, дорывался в Красной армии послужить, да все случая подходящего не подвертывалось — то хлеб молотили, то свадьба, то в банду его насильно мобилизовали (и на дезертиров мобилизация была!), — теперь решил объявиться, никак в дезертирах невозможно: хозяйству расстройство, тятяше беспокойство и Акимка поедом есть.

* По-московски сказать — с лежанки.

И отец затрясся в кашеевом кашле:

— Пропадай он к лешему совсем с каурым меринком... Анбар пусть вернет, анбар...

Глубоко засунув руки в карманы френча и волоча по облеванному полу лохматые от усталости глаза, Русаков побегал по избе и круто остановился перед Митькой:

— Сволочь!

И кулаком смыл сон с его рожи.

— Знаешь, чего с вашим братом делаем? А? То-то. Тебе, как старому солдату, прощаю, но ровно через трое суток пулемет и винтовки должны быть здесь. Понятно?

— Так точно, понятно.

— Всю твою родню оставляю заложниками... В случае чего, шелк, шелк и дымок к облакам. Понятно?

— Так...

— Кругом марш!

Митька по-солдатски повернулся через левое плечо, дошел до двери и, заплакав, встал:

— Дозвольте хошь квасу напиться, да обуться бы, што ли.

С перепугу глаза у Митьки ровно на лубке выбиты.

Всю Сплошную и Пеструю строгали морозы. Негреющее солнышко сердито прядало ушами, снулым щенком тыкалось в творожное брюхо дней. Ночи ложились легкие и глазастые. По степным, немеряным просторам курились поземки, дороги опоясывались передувинами, мороз обруча на избы наколачивал, сосулил усы и бороды, из глазу слезу высекал. Под скрипучими обозами дымились полозовины.

Сломалась зима дружно.

Дыхнуло теплынью, дороги рассопливились, путь рынул.

Поплыло...

Закружились, загалдели шальные грачи, занавоженные улицы умывались говорлючими льючами, солнышко петухом на маковке дня.

Фыркая капелью, ползла масленица мокрохвостая.

Всю неделю праздничное солнышко гудело ульем. Бурые половики дорог ухлестали луговины, в степи выщелкнулись хребетки огорков, обтаяли головы старых курганов, лед полонился на пруду, берега обметало зажоринами.

Хомутово варилось в самогоне.

Глохтили ковшами, ведрами. В широком разгуле, как опрелые рукавицы, выворачивались нечесанные мужичьи сердца. Спьяну плакали не в горсть, в пригоршню. Катались по нижней улице, на верхней снег уже сгорел, — токошишки выли. В обнимку по двое, по трое, кучками бродили селом, макали бороды в окошки: — Хазяушки, дома ли?..

Скрипуче, сиплым надрывом, с горькими перехватами орали свои горькие мужичьи песни. Пугливую деревенскую ночь хлестали нескладные пьяные крики и брех глупых деревенских собак.

Подкатило Прощеное воскресенье, останний денек, когда все, в ком душа жива, пьют до зеленых сопель, чтобы на весь пост не выдохлось.

Плясовым захлебом колоколили пестрые колокола, расталкивали разнаряженных кобеднишних баб. В выскобленных, жарко натопленных избах, за дубовыми столами — целыми семьями. Емкие аржаные утробы мостили печевом, жаревом, распаривали чаем с топленным молоком. Потом старики улезли на раскаленные печки, на палаты потужить, подремать, всхрапнуть. Молодотня — вон.

Весело на улице, гоже на празднишной.

Солнышко обвисало вихрастым подсолнечником. На пригреве, на лёклой земле собаки валялись, ровно дохлые — разморились. Куры рылись в назьме, на обталиках. Дрались петушишки, ершистые ярunki. Лобастый собачонок, пуча озорные гляделки, кубарем под гусака кривошеего, тот крылом по луже да в подворотню.

— Га, га, га.

Мшистые, вытертые годами старики выползли на необсохшие заваянки; укутаны по-зимнему, с подогами, охают, шамкают, нахохлились, греются, дружной весне дивуются, глядят не видя,

слушают не слыша, шапки на них похожи на гнезда галочки.

Ребятички в масленице, как щепки в весенней реке; руныстые, зевластые, прокопченные зимней избяной вонью, с чумазыми, иссиня-землистыми рожицами, они вливали в уличную суету кипящий смех, галчиный гвалдеж.

— Ребятенки, ребятенки, тяните голосенки, кто не дотянет того е е е э э э э э э э э, аа... — Дух занялся, глотку зальнуло.

Крики:

— Есть! Есть!

На белоголового парнишку шобонястого, будто птицами расклеванного, набрасываются всей оравой и кусают.

Зудкие, шершавые лошаденки в погремках и праздничной наборной сбруе по улице шеметом.

— Аг-га-а... Ээ!

— Качай, валяй, покачивай, ка-ча-а-ай!

— Наддай, Кузя!

Хлесть по Буланому:

— Ффьфьфь... Тыгарга-матыгарга за задоргу ного-о-ой...

Шапку Кузька потерял, только башка треплется кудрявая, как корзинка плетеная.

— Рви вари...

— Ххах...

У прогона через жиденькую загородку палисадника, в рыло огурцовской избе, в окошко запрягом — ррах, зньнь!

— Гах.

— По-нашему...

— Завернул наш Кузя в гости.

Обедали братья Огурцовы, побросали ложки, сами за ворота, вчетвером, с поленьями, с тяпкой — туча. А Кузька Замотай прямком через сугробы, навозные кучи, под яр, за мельницу:

— Го-го-го...

Только его и видали; на кутора ударился к полещику; не кобыла под ним — змея, всю зиму на хворосте постились, а на масляну раздобрился хозяин: каждый Буланка пшеничку хропает.

Девки, бабы, парни, мужики, ребятня.

Хрусткий визг, хрип утробный, в ливне смеха гульбище, ор, буй, гик, село на ноготках, кудахчут гармони.

— Молодой пока, не жалея бока!

— Ха-ха-ха.

— Пррр, держи...

Шапка сшиблена, трут снегу в волосы: молодого солят. Аксютка Камаганиха в шибле из розвальней через наклеску, подол на голову, сахарницей в сугроб.

— Эк, язви-те.

— Дрюпнулась, колода!

— Жигулевский темный лес!

— Ромк, Ромка...

— Еээ... — рванул жеребец, шррррр... Улетел Ромка, за ним всем тулаем в киватский конец ударились, погамузились у церкви да кишкой назад.

Хари, рожи, лица молодые, мордашки пылающие, нахлыстанные ветром, огневые, смешливые, бесшабашные, хохочущие, гульные, разливом... Залепленные комьями навоза и снега бороды, шапки на затылках, ветер в чупрынах.

Челеном по улице бабьи платки, полушалки небесного цвету, огненны, всяки. Поддевки, полушубки, поддергайчики, полупердени. Тройки,

пары, запряжки, возки, розвальни. Нарядные мужики нараспашку, цветные рубашки в глазах мечутся. Напоенные допьяна девки раскалываются припевками, а гармонь торопливо шьет:

Ты-на-на, ты-на-на, ты-на-на...

За день солнышко сосульки обсосало, к вечеру захрулило, подсохли лужи, загубели ноздреватые сугробы, день уполз, волоча пылающий хвост заката, выкатились звезды по кулаку.

И весельба уползла в избы.

...В печке пожар...

От хозяйки блинный дух, блины допекает лебедка. Рожа, как солнышко красное, в масло макнутое.

Угар.

Чад.

Треск.

Шип.

Стук.

В просторной, чистой половине гостёбище, половодье, содом, ярманка, гвалт несусветный.

- Пей, сватушка, пей.
- Ван Ваныч...
- Ы-ык... Я-е...
- Опять и обмолот — зарез.
- Дарья, тюк квашня...
- Ы-ык, то-то...
- Врут.
- Ай в них душа, а в нас ветер?
- Отрыгнется мужичий хлеб.
- Отрыгнется.
- Ах, куманек! — Чмок. Ван Ваныч горько сморщился, махнул рукавом новой, гремучей рубахи.
- И мы с них надерем лыка на лапти.
- Аахм.
- Терпежу нашего нет.
- Кищав, не корячься.
- Передохнут кои, на всех и земля не родит.
- Тятка, думать забудь...
- Зна... Хо-хо... Баяно-говорено...
- Поштенье тебе, как стоптанному лаптю.
- Догнал я фицера, да сашкой по котелку хряск...

— О, господи...

— Ешь, брюхо лопнет — рубашка останется.

— Хрисан-то те с родни?

— Как жа, родня, на одном солнышке онучки сушили.

На столе блинов копна. Щербы блюдо с лоханку. Рыбы куча — без порток не перепрыгнешь. Пирожки по лаптю. Курники по решету. Ватрушки по колесу. Пшенники, лапшенники в масле тонут. Сметаной и медом залейся. Пар в потолок. А самогону самые пустяки, высосали.

— Сухо...

— Не пеки мою кровь.

— Га-хо-хо...

— Хзяин, сухо.

— Дом у неё, как вокзал, на все стороны окошки.

— Так и так гоорю... — Петра Часовня толстыми пальцами разглаживал по столу бумажку, ровно молниями исхлыстанную чьими-то резолюциями, — машина, грю, твоя, земля моя...

— Растуды иху, суды иху...

— Сынок, не в жись...

— Брали мы Кеев город, эх...

— Нуу?

— Во, бат, батарея как саданет, саданет...

Над столом рожи жующие, плюющие, распаренные, лоснящиеся, осовелые. Буркалами ворочают туда, сюда. Растрепанные, спутанные волосы, рыбьи кости, соленая капуста и лапша в бородах. Разговоров — на воз не покладешь, на паре не увезешь.

— Сват, кровя одне...

— На дочь зятем Топорка приму.

— В улоск ряск.

— Месь думат...

— Сроднички, ешть, пейте.

— Дай бог не грех.

— Корова?.. От печки до стенки три сажня.

— В захлест арканют.

— Давай менять... Зверь не лошадь, воз в раскат не пустит, ни-ни, по гребешку, как шука промызнет.

В глотке: урк, урк, урк.

Бах, чебурах в ворота.

На дворе взорвался, посыпался собачий лай.

— Отец, выдь на час, Демьян, мотри.

На дворе холодно, сине, звездно, хоть в орел играй. Луна — блин поджаристый.

— Тестюшко...

— Прррр.

— мать.

— Не хочу ехать в ворота, разбирай плетень.

— Х-х-х-х-х-х...

— В бирючьих когтях.

Чмок, чмок, чмок.

— Брось, Леска распряжет, йда...

— Канек-от...

— Йда, чорт не нашей волости.

Кряк в два обхвата:

— Маслянца, што ты не семь недель ..

В избе густо плещется тяжелый гам, вихрится песня, дребезг бабьего визга кроют, нахлобучивают баса.

— А-ха-ха...

— Плохо петь, песню гадить.

— Сухо.

— Чем дышим, вашу в душу...

— Мерси покорно.

— Раздевайтесь, тестюшко.

Рукавицы на тестюшке по собаке, шапка с челяк, тулуп из девяти овчин. Умасляная башка космата, ровно его собаки рвали. Румяный, нарядный тестюшко, будто бывалышный пряник городецкий. В прищуренном глазу плясала душа пьяная, русская — мягкая да масляная, хоть блин в нее макай. Довольнешенек, дрюпнулся на лавку, лавка охнула.

Разит самогонью, овчинами, духами, вымененными на картошку. Поминутно хлопают дверью, приходят, уходят. Ребятишки на полатях свои, у порога чужие. Щебуются они больше всех.

Визг,

писк,

хих,

гом...

Гудят округлые, пьяные голоса. Обмяклые выкрики, приговорки, рык, хохох, матерщинкаматушка, дрель пляса.

— Гуляй, Матвей, не жалея лаптей,

- Дахм, мать пресвятая богородица.
- Нашел молчи, потерял молчи.
- Перетерпим, передышим.
- Ешь, блин не клин — брюха не расколет.
- Все наши нажитки.
- Полведерка у Митрофанихи... Сергунька, слетай.

Сергунька, видать, с перепоею, рожа красная, как вениками нахлыстанная. Навалился грудью на стол, огурцы хряпает, за ушами пищит. Широкий парень, топором тесан. Могучая багровая шея была обметана искорками пота. В когтях рыжей лапы зажаты золотые часы, в них Сергунька каждую минуту заглядывает, узнает, который час.

- Сергунька!
- О-ок...
- Полведерка, к Митрофанихе.
- Да-ай. — От нетерпежки сучит пальцами. — Да-ай.
- Полведерка...

Звяк бидоном, шорк в дверь и нет Сергуньки.

— Свое-то жалко, убей няддам.

— Учат нас, дураков.

Косы, космы, платки, волосники, полушалки, юбки пузырями, пузырями... Рубашки вышитые, красные, сиреневые, в полоску, в искорку, с разводами, а гармонь рвет:

Ты-на-на, ты-на-на, ты-на-на...

— Алена, аряряхни!

Аленка, гулящая девка, красава, румянец через щеку, гладкая — не ущипнешь. Коса до пяток, густая, как лошадиный хвост. Платьице поплиновое оправила, рассыпала каблуки.

В пятках пружины, всю ее сподымя бьет, выпляс особенный, ну — ядро, буярава.

Прошла раз и Феклуша, хозяйска дочь: рожа рябая, ровно шилом исковыряна, рот до ушей — теленка проглотнет, уши торчком, спина корытом, шея тоненька, хоть перерви, верблюды не девка.

Прошла раз, да и отстала, куды...

В пару Алене выходит дезертир Афонька Недоёный. Форсисто одергивает лопнувший по швам фрак, из-под фрака вышитая ру-

башка огневой запал. Что из-силы огрел себя по ляшкам, заржал и в пляс:

— Ээ, шпарь, Аленка...

Загудула старая раскольничья изба... Застонали матицы... Пол гляди-гляди провалится. Из-под лакировок — дым. Мальчишки в визге.

— Гоп, гоп.

— Рвай-давай!

Афонька зубы лошадиные оскалил, накатило на парня, взыграла окаянная сила, Алену за грудь:

— Ххы, яблочко, медовый налив...

Глянула девка, ровно варом плеснула!

— Не замай!

И тестюшка:

— Не шути, девка... — цело варево.

А ну, ходи, потолок,
Дрыгай, потолочина,
Коммунисты, не форсите,
Пока не колочены.

— Дуй, Фонька!

— Ух, ух...

— Распахнись, душа...

С улицы по окошко: диньнь... дзеньнь.

Собаки кинулись.

— Бей, можжи.

— Бабоньки...

Бабы шарахнулись от окошек.

— Девоньки...

Дзеньнь.

И еще по раме: хррр.

— Матушки...

— За нашу добродетель.

— Де топор?

— Сватушка...

Дверь расхлебняли.

Кому надо — вывалились в сени, на двор. Наскоро похватали чего под руку попало и на улицу. На завалянок упал на колени Танёк-Пронёк и неверными вихлявыми ударами крестит колом рамы, гудит:

— Пряники-то съела, а ночевать-то не пришла... Пьяночки, гуляночки, отродье ваше, мать, мать...

— Ах, так...

— Дно вышибу!

— Бей, бей...

— Глуши, сватушка.

Хряст,

хлобысть,

хмысть,

буц,

бьяк,

ччак,

хмок.

Пинками Танька Пронька катили от порядку до самой дороги. Улицей, как нахлыстанный, бежал Степка Ежик и вопил:

— Гришка... Миқишка..., Наших бьют...

Сгибли все сроки, отмеренные Ванякиным, доброго не виделось. В хлебе отказывать не отказывали и давать не торопились. Деревни оглядывались одна на другую и с надеждой посматривали на февральское солнце, которое день ото дня наливалось жаром, грозило размыть снега и распустить дороги. Правда, кой-откуда и подвозили хлебишко, то затхлый,

в ямах сгноенный, то с песком подмешанный, да и подвозили десятками пудов, когда большие тыщи спрашивались.

Не выколотив разверстки с Хомутова, нечего было и думать насшибать ее с окружающих сел. До распутицы время оставалось мало, это понимали и мужики, поглядывающие на солнышко, понимал и город, истекающий призывами.

По волости был пущен слух о новом декрете, которым каждый крестьянский двор обязывался поймать и выставить в райпродком по живому волку.

Мужики взвыли:

— Кум, слышал?

— Знаю.

— По живому, слышь?

— Шутки-баламутки.

— Дык, блоху, скажем, пымать и то не вдруг, а это эка маханули.

Не унывали одни охотники.

— Провокация, — сказал Танёк-Пронёк собравшимся к исполкому мужикам, — спраши-

вал я и Ванякина, то же самое, никаких, говорит, волков нет, одна провокация, а за распространение позорящих советскую власть сплетен с нонешнего дня в пользу культпросвета будет взиматься по двадцать пять рублей с каждого сучьего языка.

По ночам село тревожно гудело:

— Хле-е-б... Хле-е-б...

Кто скакал целые воза перепрятывать, а кто засыпал в квашню последнюю затевку, пока не отняли. Шатались улицей, сбивались в кучки.

— Начисто гребут.

— Без милости.

— Скажи ты, под метелку, до скретинки.

— Анбары охолостят, по дворам пойдут.

— Как хочешь, так и клохчешь.

— Припасли, наработали.

— Мы, гыт, голодны.

— Дармоеды, сукины дети.

— Ни тебе рта разинуть, ни тебе шага шагнуть.

— Это не жизнь, а одна болезнь.

— Так и так подыхать.

— Да, она, слобода-то, кому мед, а кому— в рот.

Село было похоже на муравейник, в который сунули горячую головешку.

На воротах, где жил Ванякин, повесили удушенную на мочалке курицу, в клюве курица держала записку: „Не суди меня, бешеный комиссар, удавилась я по причине агромадной яичной разверстки“.

В лютое февральское утро, когда снег визжал под ногой, Ванякин вел свой отряд на гумна, в наступление на хлебные крепостя. Он говорил, обращаясь к отрядникам и похлопывая себя по карману:

— Они, инструкции-то, и нам в кишки въелись, но...— Мороз перехватил голос.— А в своем декрете Ленин со слезами умиления призывает нас: „Вперед, вперед и вперед с помощью вооруженной силы“.

Отрядники — сборная молодежь, похожая на сборную селянку — коротко поддакивала и бодро вскидывала сползавшие с плеч берданки. За ними, по выбитой корытом дороге,

в притруску бежал Танёк-Пронёк и широко деловито шагал Утюгов.

На гумнах, выше плетней и ометов, была навалена сверкающая пушистая тишина.

— Начинай подряд. Чей крайний амбар?

— Прокофья Буряшкина.

— Буряшкин...— Ветер рвал из рук раскладочный лист.— Буряшкин Прокофий, двадцать пудов... Где хозяин? Сбегайте кто-нибудь за ним, пусть ключи несет.

На розыски Буряшкина бросился рыжий парнишка, похожий на заржавленную берданку, и скоро вернулся, не найдя дома ни хозяина, ни ключей.

— Ага, прятаться!

— Ломай, ребята.

— Пешню надо, тут прикладом не возьмешь,— сказал Танёк-Пронёк с видом понимающего человека, осматривая из дуба кованую дверь. Ему было как-то не по себе и, желая скрыть это, он суетился, крошил солдатские прибаутки, беспрестанно отворачивал полу драного полущубка и выхватывал или

красную тряпочку, которой протирал слезящиеся на ветру глаза, или вышитый кисет и, с просвистом сплевывая, закуривал.

Утюгов стоял в стороне, с невеселым равнодушием поглядывая на солдат.

— Что сентябрем глядишь? — крикнул ему Ванякин.

Солдаты засмеялись.

Черный председатель почесал под бородой и не вдруг спросил:

— Знач, ломать?

— Ломать, а тебе что?

— Мое дело десято.

— Ну, ладно... Иди-ка, председатель, распорядись насчет подвод, да поживее.

Тяжелый, как грозой налитый, Утюгов ушел и больше не вернулся, а прислал десятского:

— Нету подвод, лошади в разгоне.

Ванякин выругался и послал пару своих ребят пошарить лошадей по дворам.

Пробой вырвали.

В сусеках темным жаром пламенело зерно. В углах колыхались огромные, ровно решета,

круги паутины. Паутиной были обтянуты бревенчатые ребра стен. Зерном наливали мешок за мешком под завязку, в полутемном пролете дверей дымилась сладковатая хлебная пыль. Разогревшиеся солдаты бегали в одних гимнастерках, и розвальни, крякая, ловили тугие мешки в свои широкие объятия.

А в исполкоме, ровно в смоляном котле, кипело собрание, и перед исполкомом церковная площадь ломилась от народа: солдатки, вдовы, инвалиды — хомутовская голытьба. Комбед раз в месяц выдавал им понемногу гарочной и жертвенной — от богатеев — муки. Нонче был день выдачи, но еще накануне лег слух, что выдавать не будут.

В толпе кружились и богатые мужики, распространяли свои собственные разговоры:

— Мы последним куском рады поделиться, да видишь ты, самим животы крутит.

— Уж так крутит, и не сказать.

— Каргала.

— Не нонче — завтра все по миру пойдем.

— Не знай, кто подавать-то будет.

— Крышка.

— А то, вон, слышь, нову бумагу прислали, кур просят.

— Еще того чище.

— Ку-у-ур? Мы сами мякиной давимся, а их, вишь, на курятину потянуло... Гожа.

— Чудак, ваше благородие, — паска жидовска скоро, ну, вот и...

— Такое дело, или сена клок, или вилы в бок.

Вызванный Ванякин продирался со своими солдатами через толпу, визгливые голоса сыпали его насмешками и бранью. Бабы размахивали пустыми мешками, и злоба рябила их лица, как ветер воду.

В дверях Ванякина остановил хомутовский коммунист Антон Грошев, по прозвищу Над-Нами-Кверх-Ногами, и сунул ему корявое заявление, в котором просил сократить его из ячейки, как он, Грошев, малоученый и не подготовлен к коммунизму. Ванякин остановился на минутку и, глядя в прочитанное уже заявление, задумался, а Антон бормотал, давась своими словами:

— Што уж там, весь народ глядит на нас ровно на зверей, и я не могу переносить всего этого, как местный житель.

На площади толпа качалась, и крики летели, бились в исполкомские окна.

— Да-а-а-а-ва-ай...

— Хлеба-а-а-а...

На исполкомское крыльцо вышел Ванякин с Утюговым.

Бабы крики и плач взметнулись горячей пылью:

— Крайность наша.

— Какие наши добытки.

— Ты хлеб ешь, а он тебя.

— Мужиков дома нет, куда ни повернись одна.

— В мызг уездились.

— Ребятишек пожалей, мал меньша, крупельны.

— Што им, рыланам.

Утюгов махнул шапкой:

— Бабы, прекратите пренья, заткните глотки.

Гул помалу утихал, как прибор угасающего дождя. Ванякин говорил, отчаянно размахивая

Пьяное веселье—бидоны, четверти, боченки—волокли из подполья, чуланов, разрывали в кучах навоза и били-колотили. К ночи над селом облаком стоял самогонный дух. Ребятам своим начальник строго-настрого приказал не пить, и они, действительно, нигде не пили, а только пробовали и так напробовались, что не помнили, где и ночевали. Сам Русаков на ногах держался крепко и помнил явственно все: хлебал уху, потом тащили его на спектакль, на спектакль не пошел, а, по совету Акимки, залился в гости к Аленке, куда и нагрянул со скандалом весь президиум исполкома... Ночь была вьюжная или тихая, дьявол разберет, а только приходит он утром на квартиру, и перепуганный старшой к нему под ноги:

— Так и так, товарищ начальник, докладываю, что секретный отряд ночью снялся и ушел в степь, в неизвестном направлении.

— Дальше?

— А еще докладываю, у нас пропал пулемет, и на весь отряд осталось две винтовки Гра.

— Куда делись?

— Не могу знать.

— Ты был пьян, мерзавец?

— Никак нет.

— Немедленно собрать людей.

— Слушаюсь.

Собрал старшой людей, выстроил, перекликал, семерых не хватало.

— Семерых недосчитываюсь, товарищ начальник.

— Куда делись?

— Не могу знать.

— Ты был пьян, подлец?

— Никак нет.

— Подойди, дыхни.

Дыхнул старшой—изо рта у него несло табаком, портянками, навозом.

Русаков схватился за голову:

— Ни чорта не пойму. Я спрашиваю, куда подевались винтовки, пулемет, красноармейцы?

— Не могу знать.

— Должно, с дезертирами уканалы,—ухмыльнулся правофланговый Косягин,—окромя им и деться некуда.

— С какими дезертирами?

— Дык, все с теми же, под боком-то у нас стоял отряд самых секретных дезертиров.

— Как дезертиров?—подбежал начальник к правофланговому,—каких дезертиров?

— Таких.

Загалдели:

— И нас уговаривали пристать.

— Сколь раз смущали.

— Чай, мы не дураки... Мы, сучий рот, проть советской власти ни в какую.

— Чего же вы меня раньше не предупредили?

— Боязно, у них леворьверы.

— Я бы и сказал, да не знал.

— Конечное дело.

Начальник раскатил залп зернистой ругани и убежал в избу, бормоча:

— Пропал, ни за что пропал... Ах, гады!

Немного погодя десятник вручил ему записку:

„Командеру дезерционного отряда, товарищу Русакову. Доношу, хозяин, где проживаете вы,

Демка Кольцов, ходит по селу и ведет недоброжелательную агитацию — сиречь — сожрали у меня годовалого бычка, две свиньи, овцу и казачье седло и когда они провалятся в тар-тарары, ни дна им ни крыши вместе со слободой, а также сей Демка нахально не признает советску власть и предает ее за тридцать серебряников; мы за нее кровь перед чехами лили, а у него, стервеца, сын в дезертирах, а также сей недостойный гражданин контр-революционных лошадей укрывает. Нижайше прошу и призываю тебя, товарищ Русаков, сделай с Кольцовым Демкой чево-нибудь циркулирующее, а все имущество, начиная с собаки и возносясь до каурого мерина, передай в сиротские руки бедноты босой и голой, холодной и голодной.

Идейный милиционер рабочей крестьянской гвардии и армии РСФСР РКП т. Аким Собакин“.

Разбудил Русаков хозяина Демку Кольцова, за шганину стащил его с печки, запиской милицейской ему в зубы ткнул:

— Ты, что же это, дядя, предаешь советскую власть за тридцать серебряников? У меня пулемет пропал, тридцать восемь винтовок Гра улыбнулись, а у тебя сын в дезертирах? Разве так честные граждане поступают?

— Господи Сусе, господи Сусе,— протирал старик глаза спросонья,— опять напасть.

— Почему контр-революционных лошадей укрываешь? — наступал на него Русаков, — почему...

— По назлобью, сынок, на меня набрехали, по назлобью.

— Ты лучше сознайся, да отопрись.

— Дозволь, сынок, слово молвить...

— До слов ли тут? С дезертирами под одной крышей ночевал, свои люди разбегаются, пулемет, винтовочки ухлили, хоть и дрянь винтовки, не стреляла ни одна, а придется под военсуд итти. До разговоров ли тут, этакий решительный момент навалился!

— Я тебе покажу дезертиров скрывать, из-за вас, чертей, весь саботаж проистекает, а для начала, согласно губкомдезертир, конфискую-ка

я у тебя все хозяйское обзаведенье, начиная с собаки и до каурова мерина, а самого, по первому разу, заправлю в острог вшей кормить.

И горько заплакал, затрясся старик Демка Кольцов:

— Не губи, батюшка, душу крещену, всю правду поведаю.

— Согласно губкомдезертир...

— Не губи, кормилец, слова не совру.

Русаков схватился за голову и упал на табуретку:

— Давай похмелиться.

— Мы с хорошим человеком со всей нашей радостью.

С отчаянной поспешностью загремел хозяин стаканами в шкапу, выхватил из-за божницы бутылку перегону:

— Кушайте, не скисняйтесь, у нас она не куплена.

И поведал старик, Демка Кольцов:

— Секретный отряд вовсе, будто, и не секретный отряд, а сами есть секретны дезертиры из деревень Чукчеевки, Нижней Сахчи,

Вознесенки и Втулкина, наших, в роде, и не было никого, истинный господь, не было. Телка у меня годовалого сожрали, двух свиней и ружьишки ваши они же, будь им не ладно, заграбастовали, опричь некому. У пьяных, слышно, разговор был, собираются в степи лошадей у киргизов отнимать, вот им и спонадобились ваши ружьишки... Ты пей, сынок, у нас она не куплена, у нас, слава те господи... И верна, товарищ, эта разя жизнь? Вчера теленка со двора увели, нонче свинью сожрали, завтра самого к стенке, ты вон грозишь по миру пустить... Под Рождество поймала наша комбеда татарина: соли елецкой мешок вез. Соль арестовали, а на того спекулянта, несчастного татарина — контрибуцию за его же соль. Так он в амбаре и помер, а може замерз. Говорил еще перед смертью: „Холеру пережил, чуму пережил, а свободу никак не переживешь...“ Даа, остались от татарина сани с подрезами да меринок каурый. Сани бедному председателю угодили, а меринок Акимке под верх пошел, скушно полицейскому без лошадки —

догнать там кого, или воды, скажем, бочку, и ту на козе не вкатишь. Ладно... Надысь нагрянул в село самогонный отряд и прямком шасть ко мне обыском. Донос, я так думаю, и в уме не держал, какая такая самогонка, и нюхать ее не нюхал, не только-что варить. Шарили они шарили, ну и... кхе... в подпольи нашли, будто, кадушку с закваской. „Это что?“ — „Закваска, — говорю, — ничего вредного, чистый хлеб, праздники на носу — раз, плотников рядить хочу — опять двадцать пять“. — „Ах ты, такой сякой, мы в городе собачины досыта не видим, а вы бражничать? Эй, солдаты, бей кадушку, лей барду на улицу“. — „Пошто, — говорю, — добру пропадать, лей вон в корыто, свиньи скушают"... Гляжу, один супчик сыновнию емнастерку в мешок сует. „Погодь, не лапай, не купишь; сын родной Митька с вастрейского хронту привез, грабеж“. А он мне: „Прошу не оскорблять, теплы вещи для Красной армии нужны"... Был такой декрет, скажи ты мне, товарищ Русаков?

— Был.

— „Неправильный декрет, — кричит с палатей сын Митька, в дезертирах кой, он тогда дома проживал, — я раненый два раза и на емнастерку дакамент могу приставить“. А они свое: „Тепла вещь“. Дернул я за рукав, оторвал рукав: „Мать вашу так, хошь рукав да наш, годится бабам чугуны перетирать“.

Весь во власти горестных воспоминаний, старик морщился, плевался и воздымал трясущиеся руки к переднему углу, и богов призывал в свидетели:

— Дааа, хорошо... Токо мы с Митькой в бане перемылись, попарились, токо к самовару подвалились, стук-стук в окошку десятник Петра-Ворыпай: „Демьян Савич, комитет требуют срочно“. А до комитету боле версты, я только из бани, горячий человек, куда я на ветер пойду, выпча глаза? — „Ну его, — кричу, — и комитет-то ваш“. Ушел десятник, летит Акимка и прямо с разбоем, как атаман Кузьма Рошин: „Ты властям не подчиняться, кумышку гнать, дезертиров разводите? Все до последнего кола леквизирую“. Меня так и перепо-

ясало: разорит, думаю, в корень разорит, чего с собакой поделаешь?.. А Митька и виду не подал, да ему встречь: „Вы, товарищ Аким Собакин, мать твою через дугу, не разоряйтесь, и вас за машинку взять можно, я тоже солдат с вострейского хронту два раза раненый и, действительно, дезертир за кругом один, а у вас, товарищ Аким Собакин, не забудьте, родной племянничек Петька дезертир, да шурин дезертир“. Тут из-за сына и я осмелел: „Мы,— кричу,— налогу пятнадцать тысяч сдали, четыре воза хлеба на пункт отвезли, вся власть на нас держится, а вы, шаромыги, не только власти, собаке бездомной куска не бросите. У меня на двор каждая палка затащена, по солоmine все снесено“... Надолго бы нам разговору хватило, да Митька догадался, принес от свата горлодерки четверть. „Давай мириться!“ — „Давай“.— Хватили по ковшику, нас и развезло...

Русаков сборил лоб, пытался понять старика, но отчаявшаяся мысль упорно уводила его во вчерашний день, в последние ночи,— обыски,

уха, Аленка, винтовки, — как ни крутись, суда не миновать.

Старик падал грудью на стол, кричал:

— Сынок ты мой, видишь ты, какое дело? Акимка с братом делится, лесу у него на избу нехваток, а у меня анбар на задах гниет. „Давай, — говорит, — на каурого мерина менять!“. Пораскинул я мозгами: хлеба большого нет, и будет, так в землю его топтать надо, так и так ни к чему анбар. „Где наша ни пропадала, давай“, говорю. И поменяли ухо-на-ухо. Рассыпал он мой анбар, я каурого мерина в укромное место переплавил, ладно... Што ж ты, брат ты мой, думаешь? Двух дён не прошло, бежит Акимка: „Где каурый меринок?“ — „Анбар мой где?“ — „За анбар я тебе по твердым ценам уплачу, а казенного меринка вынь да выложь“. „Ищи, — говорю, — я у тебя никакого меринка не брал“. Пошарил по двору — нет, туда, сюда — нет: на нет и суда нет. Волостному председателю Акимка заявил: „Увели“, а мне пригрозил, и тебя, ангела, он, пес, натравил... Я не кулак, я средний житель... Эх, товарищ, разя

нашего брата мужика трудно обидеть? Хошь крест с шеи снимай, хоть исподники стаскивай, рук не отведем...

— Курва! Кишки из него на скалку вымотать!— брякнул, ровно глиняный черепок, глухой голос из-за печки.

Русаков вздрогнул:

— Кто там бурчит?

— Тама? Кхе, так это ж, должно, сын мой Митька, больше и некому... Митька!.. Сы-ын!..

С казенки* поднялся заспанный, босой, действительно дезертир Митька и, запустив левую руку в ширинку, не одна его тревожила, правой отдал честь.

Так и так, давно он, Митька, дорывался в Красной армии послужить, да все случая подходящего не подвертывалось — то хлеб молотили, то свадьба, то в банду его насильно мобилизовали (и на дезертиров мобилизация была!), — теперь решил объявиться, никак в дезертирах невозможно: хозяйству расстройство, тятяше беспокойство и Акимка поедом есть.

* По-московски сказать — с лежанки.

И отец затрясся в кашеевом кашле:

— Пропадай он к лешему совсем с каурым меринком... Анбар пусть вернет, анбар...

Глубоко засунув руки в карманы френча и волоча по облеванному полу лохматые от усталости глаза, Русаков побегал по избе и круто остановился перед Митькой:

— Сволочь!

И кулаком смыл сон с его рожи.

— Знаешь, чего с вашим братом делаем? А? То-то. Тебе, как старому солдату, прощаю, но ровно через трое суток пулемет и винтовки должны быть здесь. Понятно?

— Так точно, понятно.

— Всю твою родню оставляю заложниками... В случае чего, шелк, шелк и дымок к облакам. Понятно?

— Так...

— Кругом марш!

Митька по-солдатски повернулся через левое плечо, дошел до двери и, заплакав, встал:

— Дозвольте хошь квасу напиться, да обуться бы, што ли.

С перепугу глаза у Митьки ровно на лубке выбиты.

Всю Сплошную и Пеструю строгали морозы. Негреющее солнышко сердито прядало ушами, снулым щенком тыкалось в творожное брюхо дней. Ночи ложились легкие и глазастые. По степным, немеряным просторам курились поземки, дороги опоясывались передувинами, мороз обруча на избы наколачивал, сосулил усы и бороды, из глазу слезу высекал. Под скрипучими обозами дымились полозовины.

Сломалась зима дружно.

Дыхнуло теплынью, дороги рассопливились, путь рынул.

Поплыло...

Закружились, загалдели шальные грачи, занавоженные улицы умывались говорлючими льючами, солнышко петухом на маковке дня.

Фыркая капелью, ползла масленица мокрохвостая.

Всю неделю праздничное солнышко гудело ульем. Бурые половики дорог ухлестали луговины, в степи выщелкнулись хребетки огорков, обтаяли головы старых курганов, лед полонился на пруду, берега обметало зажоринами.

Хомутово варилось в самогоне.

Глохтили ковшами, ведрами. В широком разгуле, как опрелые рукавицы, выворачивались нечесанные мужичьи сердца. Спьяну плакали не в горсть, в пригоршню. Катались по нижней улице, на верхней снег уже сгорел, — токошишки выли. В обнимку по двое, по трое, кучками бродили селом, макали бороды в окошки: — Хазяушки, дома ли?..

Скрипуче, сиплым надрывом, с горькими перехватами орали свои горькие мужичьи песни. Пугливую деревенскую ночь хлестали нескладные пьяные крики и брех глупых деревенских собак.

Подкатило Прощеное воскресенье, останный денек, когда все, в ком душа жива, пьют до зеленых сопель, чтобы на весь пост не выдохлось.

Плясовым захлебом колоколили пестрые колокола, расталкивали разнаряженных кобеднишних баб. В выскобленных, жарко натопленных избах, за дубовыми столами — целыми семьями. Емкие аржаные утробы мостили печевом, жаревом, распаривали чаем с топленным молоком. Потом старики улезли на раскаленные печки, на палаты потужить, подремать, всхрапнуть. Молодотня — вон.

Весело на улице, гоже на празднишной.

Солнышко обвисало вихрастым подсолнечником. На пригреве, на лёклой земле собаки валялись, ровнодохлые — разморились. Куры рылись в назьме, на обталиках. Дрались петушишки, ершистые ярунки. Лобастый собачонок, пуча озорные гляделки, кубарем под гусака кривошеего, тот крылом по луже да в подворотню.

— Га, га, га.

Мшистые, вытертые годами старики выползли на необсохшие заваялки; укутаны по-зимнему, с подогами, охают, шамкают, нахохлились, греются, дружной весне дивуются, глядят не видя,

слушают не слыша, шапки на них похожи на гнезда галочки.

Ребятишки в масленице, как щепки в весенней реке; руныстые, зевластые, прокопченные зимней избяной вонью, с чумазами, иссиня-землистыми рожицами, они вливали в уличную суету кипящий смех, галчиный гвалдеж.

— Ребятенки, ребятенки, тяните голосенки, кто не дотянет того е е е э э э э э э э э, аа... — Дух занялся, глотку зальнуло.

Крики:

— Есть! Есть!

На белоголового парнишку шобонястого, будто птицами расклеванного, набрасываются всей оравой и кусают.

Зудкие, шершавые лошаденки в погремках и праздничной наборной сбруе по улице шеметом.

— Аг-га-а... Ээ!

— Качай, валяй, покачивай, ка-ча-а-ай!

— Наддай, Кузя!

Хлесть по Буланому:

— Ффьфьфь... Тыгарга-матыгарга за задоргу ного-о-ой...

Шапку Кузька потерял, только башка треплется кудрявая, как корзинка плетеная.

— Рви вари...

— Ххах...

У прогона через жиденькую загородку палисадника, в рыло огурцовской избе, в окошко запрягом — ррах, зньнь!

— Гах.

— По-нашему...

— Завернул наш Кузя в гости.

Обедали братья Огурцовы, побросали ложки, сами за ворота, вчетвером, с поленьями, с тяпкой — туча. А Кузька Замотай прямком через сугробы, навозные кучи, под яр, за мельницу:

— Го-го-го...

Только его и видали; на кутора ударился к полещику; не кобыла под ним — змея, всю зиму на хворосте постились, а на масляну раздобрился хозяин: каждый Буланка пшеничку хропает.

Девки, бабы, парни, мужики, ребятня.

Хрусткий визг, хрип утробный, в ливне смеха гульбище, ор, буй, гик, село на ноготках, кудахчут гармони.

— Молодой пока, не жалея бока!

— Ха-ха-ха.

— Пррр, держи...

Шапка сшиблена, трут снегу в волосы: молодого солят. Аксютка Камаганиха в шибле из розвальней через наклеску, подол на голову, сахарницей в сугроб.

— Эк, язви-те.

— Дрюпнулась, колода!

— Жигулевский темный лес!

— Ромк, Ромка...

— Еээ... — рванул жеребец, шррррр... Улетел Ромка, за ним всем тулаем в киватский конец ударились, погамузились у церкви да кишкой назад.

Хари, рожи, лица молодые, мордашки пылающие, нахлыстанные ветром, огневые, смешливые, бесшабашные, хохочущие, гульные, разливом... Залепленные комьями навоза и снега бороды, шапки на затылках, ветер в чупрынах.

Челеном по улице бабьи платки, полушалки небесного цвету, огненны, всяки. Поддевки, полушубки, поддевайчики, полупердени. Тройки,

пары, запряжки, возки, розвальни. Нарядные мужики нараспашку, цветные рубашки в глазах мечутся. Напоенные допьяна девки раскалываются припевками, а гармонь торопливо шьет:

Ты-на-на, ты-на-на, ты-на-на...

За день солнышко сосульки обсосало, к вечеру захрулило, подсохли лужи, загубели ноздреватые сугробы, день уполз, волоча пылающий хвост заката, выкатились звезды по кулаку.

И весельба уползла в избы.

...В печке пожар...

От хозяйки блинный дух, блины допекает лебедка. Рожа, как солнышко красное, в масло макнутое.

Угар.

Чад.

Треск.

Шип.

Стук.

В просторной, чистой половине гостёбище, половодье, содом, ярманка, гвалт несусветный.

- Пей, сватушка, пей.
- Ван Ваныч...
- Ы-ык... Я-е...
- Опять и обмолот — зарез.
- Дарья, тюк квашня...
- Ы-ык, то-то...
- Врут.
- Ай в них душа, а в нас ветер?
- Отрыгнется мужичий хлеб.
- Отрыгнется.
- Ах, куманек! — Чмок. Ван Ваныч горько сморщился, махнул рукавом новой, гремучей рубахи.
- И мы с них надерем лыка на лапти.
- Аахм.
- Терпежу нашего нет.
- Кищав, не корячься.
- Передохнут кои, на всех и земля не родит.
- Тятка, думать забудь...
- Зна... Хо-хо... Баяно-говорено...
- Поштенье тебе, как стоптанному лаптю.
- Догнал я фицера, да сашкой по котелку хряск...

— О, господи...

— Ешь, брюхо лопнет — рубашка останется.

— Хрисан-то те с родни?

— Как жа, родня, на одном солнышке онучки сушили.

На столе блинов копна. Щербы блюдо с лоханку. Рыбы куча — без порток не перепрыгнешь. Пирожки по лаптю. Курники по решету. Ватрушки по колесу. Пшенники, лапшенники в масле тонут. Сметаной и медом залейся. Пар в потолок. А самогону самые пустяки, высосали.

— Сухо...

— Не пеки мою кровь.

— Га-хо-хо...

— Хзяин, сухо.

— Дом у неё, как вокзал, на все стороны окошки.

— Так и так гоорю... — Петра Часовня толстыми пальцами разглаживал по столу бумажку, ровно молниями исхлыстанную чьими-то резолюциями, — машина, грю, твоя, земля моя...

— Растуды иху, суды иху...

— Сынок, не в жись...

— Брали мы Кеев город, эх...

— Нуу?

— Во, бат, батарея как саданет, саданет...

Над столом рожи жующие, плюющие, распаренные, лоснящиеся, осовелые. Буркалами ворочают туда, сюда. Растрепанные, спутанные волосы, рыбьи кости, соленая капуста и лапша в бородах. Разговоров — на воз не покладешь, на паре не увезешь.

— Сват, кровя одне...

— На дочь зятем Топорка приму.

— В улоск ряск.

— Месь думат...

— Сроднички, ешть, пейте.

— Дай бог не грех.

— Корова?.. От печки до стенки три сажня.

— В захлест арканют.

— Давай менять... Зверь не лошадь, воз в раскат не пустит, ни-ни, по гребешку, как шука промызнет.

В глотке: урк, урк, урк.

Бах, чебурах в ворота.

На дворе взорвался, посыпался собачий лай.

— Отец, выдь на час, Демьян, мотри.

На дворе холодно, сине, звездно, хоть в орел играй. Луна — блин поджаристый.

— Тестюшко...

— Прррр.

— мать.

— Не хочу ехать в ворота, разбирай плетень.

— Х-х-х-х-х-х...

— В бирючьих когтях.

Чмок, чмок, чмок.

— Брось, Леска распряжет, йда...

— Канек-от...

— Йда, чорт не нашей волости.

Кряк в два обхвата:

— Маслянца, што ты не семь недель ..

В избе густо плещется тяжелый гам, вихрится песня, дребезг бабьего визга кроют, нахлобучивают баса.

— А-ха-ха...

— Плохо петь, песню гадить.

— Сухо.

— Чем дышим, вашу в душу...

— Мерси покорно.

— Раздевайтесь, тестюшко.

Рукавицы на тестюшке по собаке, шапка с челяк, тулуп из девяти овчин. Умасляная башка космата, ровно его собаки рвали. Румяный, нарядный тестюшко, будто бывалышный пряник городецкий. В прищуренном глазу плясала душа пьяная, русская — мягкая да масляная, хоть блин в нее макай. Довольнешенек, дрюпнулся на лавку, лавка охнула.

Разит самогонью, овчинами, духами, вымененными на картошку. Поминутно хлопают дверью, приходят, уходят. Ребятишки на полатях свои, у порога чужие. Щебуются они больше всех.

Визг,

писк,

хих,

гом...

Гудят округлые, пьяные голоса. Обмяклые выкрики, приговорки, рык, хохох, матерщинкаматушка, дрель пляса.

— Гуляй, Матвей, не жалея лаптей,

— Дахм, мать пресвятая богородица.

— Нашел молчи, потерял молчи.

— Перетерпим, передышим.

— Ешь, блин не клин — брюха не расколет.

— Все наши нажитки.

— Полведерка у Митрофанихи... Сергунька, слетай.

Сергунька, видать, с перепоею, рожа красная, как вениками нахлыстанная. Навалился грудью на стол, огурцы хряпает, за ушами пищит. Широкий парень, топором тесан. Могучая багровая шея была обметана искорками пота. В когтях рыжей лапы зажаты золотые часы, в них Сергунька каждую минуту заглядывает, узнает, который час.

— Сергунька!

— О-ок...

— Полведерка, к Митрофанихе.

— Да-ай. — От нетерпежки сучит пальцами. — Да-ай.

— Полведерка...

Звяк бидоном, шорк в дверь и нет Сергуньки.

— Свое-то жалко, убей няддам.

— Учат нас, дураков.

Косы, космы, платки, волосники, полушалки, юбки пузырями, пузырями... Рубашки вышитые, красные, сиреневые, в полоску, в искорку, с разводами, а гармонь рвет:

Ты-на-на, ты-на-на, ты-на-на...

— Алена, аряряхни!

Аленка, гулящая девка, красава, румянец через щеку, гладкая — не ущипнешь. Коса до пяток, густая, как лошадиный хвост. Платьице поплиновое оправила, рассыпала каблуки.

В пятках пружины, всю ее сподымя бьет, выпляс особенный, ну — ядро, буярава.

Прошла раз и Феклуша, хозяйска дочь: рожа рябая, ровно шилом исковыряна, рот до ушей — теленка проглотнет, уши торчком, спина корытом, шея тоненька, хоть перерви, верблюды не девка.

Прошла раз, да и отстала, куды...

В пару Алене выходит дезертир Афонька Недоёный. Форсисто одергивает лопнувший по швам фрак, из-под фрака вышитая ру-

башка огневой запал. Что из-силы огрел себя по ляшкам, заржал и в пляс:

— Ээ, шпарь, Аленка...

Загудула старая раскольничья изба... Застонали матицы... Пол гляди-гляди провалится. Из-под лакировок — дым. Мальчишки в визге.

— Гоп, гоп.

— Рвай-давай!

Афонька зубы лошадиные оскалил, накатило на парня, взыграла окаянная сила, Алену за грудь:

— Ххы, яблочко, медовый налив...

Глянула девка, ровно варом плеснула!

— Не замай!

И тестюшка:

— Не шути, девка... — цело варево.

А ну, ходи, потолок,
Дрыгай, потолочина,
Коммунисты, не форсите,
Пока не колочены.

— Дуй, Фонька!

— Ух, ух...

— Распахнись, душа...

С улицы по окошко: диньнь... дзеньнь.

Собаки кинулись.

— Бей, можжи.

— Бабоньки...

Бабы шарахнулись от окошек.

— Девоньки...

Дзеньнь.

И еще по раме: хррр.

— Матушки...

— За нашу добродетель.

— Де топор?

— Сватушка...

Дверь расхлебняли.

Кому надо — вывалились в сени, на двор. Наскоро похватали чего под руку попало и на улицу. На завалянок упал на колени Танёк-Пронёк и неверными вихлявыми ударами крестит колом рамы, гудит:

— Пряники-то съела, а ночевать-то не пришла... Пьяночки, гуляночки, отродье ваше, мать, мать...

— Ах, так...

— Дно вышибу!

— Бей, бей...

— Глуши, сватушка.

Хряст,

хлобысть,

хмысть,

буц,

бьяк,

ччак,

хмок.

Пинками Танька Пронька катили от порядку до самой дороги. Улицей, как нахлыстанный, бежал Степка Ежик и вопил:

— Гришка... Миқишка..., Наших бьют...

Сгибли все сроки, отмеренные Ванякиным, доброго не виделось. В хлебе отказывать не отказывали и давать не торопились. Деревни оглядывались одна на другую и с надеждой посматривали на февральское солнце, которое день ото дня наливалось жаром, грозило размыть снега и распустить дороги. Правда, кой-откуда и подвозили хлебишко, то затхлый,

в ямах сгноенный, то с песком подмешанный, да и подвозили десятками пудов, когда большие тыщи спрашивались.

Не выколотив разверстки с Хомутова, нечего было и думать насшибать ее с окружающих сел. До распутицы время оставалось мало, это понимали и мужики, поглядывающие на солнышко, понимал и город, истекающий призывами.

По волости был пущен слух о новом декрете, которым каждый крестьянский двор обязывался поймать и выставить в райпродком по живому волку.

Мужики взвыли:

— Кум, слышал?

— Знаю.

— По живому, слышь?

— Шутки-баламутки.

— Дык, блоху, скажем, пымать и то не вдруг, а это эка маханули.

Не унывали одни охотники.

— Провокация, — сказал Танёк-Пронёк собравшимся к исполкому мужикам, — спраши-

вал я и Ванякина, то же самое, никаких, говорит, волков нет, одна провокация, а за распространение позорящих советскую власть сплетен с нонешнего дня в пользу культпросвета будет взиматься по двадцать пять рублей с каждого сучьего языка.

По ночам село тревожно гудело:

— Хле-е-б... Хле-е-б...

Кто скакал целые воза перепрятывать, а кто засыпал в квашню последнюю затевку, пока не отняли. Шатались улицей, сбивались в кучки.

— Начисто гребут.

— Без милости.

— Скажи ты, под метелку, до скретинки.

— Анбары охолостят, по дворам пойдут.

— Как хочешь, так и клохчешь.

— Припасли, наработали.

— Мы, гыт, голодны.

— Дармоеды, сукины дети.

— Ни тебе рта разинуть, ни тебе шага шагнуть.

— Это не жизнь, а одна болезнь.

— Так и так подыхать.

— Да, она, слобода-то, кому мед, а кому— в рот.

Село было похоже на муравейник, в который сунули горячую головешку.

На воротах, где жил Ванякин, повесили удушенную на мочалке курицу, в клюве курица держала записку: „Не суди меня, бешеный комиссар, удавилась я по причине агромадной яичной разверстки“.

В лютое февральское утро, когда снег визжал под ногой, Ванякин вел свой отряд на гумна, в наступление на хлебные крепостя. Он говорил, обращаясь к отрядникам и похлопывая себя по карману:

— Они, инструкции-то, и нам в кишки въелись, но...— Мороз перехватил голос.— А в своем декрете Ленин со слезами умиления призывает нас: „Вперед, вперед и вперед с помощью вооруженной силы“.

Отрядники — сборная молодежь, похожая на сборную селянку — коротко поддакивала и бодро вскидывала сползавшие с плеч берданки. За ними, по выбитой корытом дороге,

в притруску бежал Танёк-Пронёк и широко деловито шагал Утюгов.

На гумнах, выше плетней и ометов, была навалена сверкающая пушистая тишина.

— Начинай подряд. Чей крайний амбар?

— Прокофья Буряшкина.

— Буряшкин...— Ветер рвал из рук раскладочный лист.— Буряшкин Прокофий, двадцать пудов... Где хозяин? Сбегайте кто-нибудь за ним, пусть ключи несет.

На розыски Буряшкина бросился рыжий парнишка, похожий на заржавленную берданку, и скоро вернулся, не найдя дома ни хозяина, ни ключей.

— Ага, прятаться!

— Ломай, ребята.

— Пешню надо, тут прикладом не возьмешь,— сказал Танёк-Пронёк с видом понимающего человека, осматривая из дуба кованую дверь. Ему было как-то не по себе и, желая скрыть это, он суетился, крошил солдатские прибаутки, беспрестанно отворачивал полу драного полущубка и выхватывал или

красную тряпочку, которой протирал слезящиеся на ветру глаза, или вышитый кисет и, с просвистом сплевывая, закуривал.

Утюгов стоял в стороне, с невеселым равнодушием поглядывая на солдат.

— Что сентябрем глядишь? — крикнул ему Ванякин.

Солдаты засмеялись.

Черный председатель почесал под бородой и не вдруг спросил:

— Знач, ломать?

— Ломать, а тебе что?

— Мое дело десято.

— Ну, ладно... Иди-ка, председатель, распорядись насчет подвод, да поживее.

Тяжелый, как грозой налитый, Утюгов ушел и больше не вернулся, а прислал десятского:

— Нету подвод, лошади в разгоне.

Ванякин выругался и послал пару своих ребят пошарить лошадей по дворам.

Пробой вырвали.

В сусеках темным жаром пламенело зерно. В углах колыхались огромные, ровно решета,

круги паутины. Паутиной были обтянуты бревенчатые ребра стен. Зерном наливали мешок за мешком под завязку, в полутемном пролете дверей дымилась сладковатая хлебная пыль. Разогревшиеся солдаты бегали в одних гимнастерках, и розвальни, крякая, ловили тугие мешки в свои широкие объятия.

А в исполкоме, ровно в смоляном котле, кипело собрание, и перед исполкомом церковная площадь ломилась от народа: солдатки, вдовы, инвалиды — хомутовская голытьба. Комбед раз в месяц выдавал им понемногу гарочной и жертвенной — от богатеев — муки. Нонче был день выдачи, но еще накануне лег слух, что выдавать не будут.

В толпе кружились и богатые мужики, распространяли свои собственные разговоры:

— Мы последним куском рады поделиться, да видишь ты, самим животы крутит.

— Уж так крутит, и не сказать.

— Каргала.

— Не нонче — завтра все по миру пойдем.

— Не знай, кто подавать-то будет.

— Крышка.

— А то, вон, слышь, нову бумагу прислали, кур просят.

— Еще того чище.

— Ку-у-ур? Мы сами мякиной давимся, а их, вишь, на курятину потянуло... Гожа.

— Чудак, ваше благородие, — паска жидовска скоро, ну, вот и...

— Такое дело, или сена клок, или вилы в бок.

Вызванный Ванякин продирался со своими солдатами через толпу, визгливые голоса сыпали его насмешками и бранью. Бабы размахивали пустыми мешками, и злоба рябила их лица, как ветер воду.

В дверях Ванякина остановил хомутовский коммунист Антон Грошев, по прозвищу Над-Нами-Кверх-Ногами, и сунул ему корявое заявление, в котором просил сократить его из ячейки, как он, Грошев, малоученый и не подготовлен к коммунизму. Ванякин остановился на минутку и, глядя в прочитанное уже заявление, задумался, а Антон бормотал, давась своими словами:

— Што уж там, весь народ глядит на нас ровно на зверей, и я не могу переносить всего этого, как местный житель.

На площади толпа качалась, и крики летели, бились в исполкомские окна.

— Да-а-а-а-ва-ай...

— Хлеба-а-а-а...

На исполкомское крыльцо вышел Ванякин с Утюговым.

Бабы крики и плач взметнулись горячей пылью:

— Крайность наша.

— Какие наши добытки.

— Ты хлеб ешь, а он тебя.

— Мужиков дома нет, куда ни повернись одна.

— В мызг уездились.

— Ребятишек пожалей, мал меньша, крупельны.

— Што им, рыланам.

Утюгов махнул шапкой:

— Бабы, прекратите пренья, заткните глотки.

Гул помалу утихал, как прибор угасающего дождя. Ванякин говорил, отчаянно размахивая

одной рукой, а другой, невольно, расстегивая кобур:

— Товарищи, не поддавайся на провокацию кулаков... Товарищи, хлеба вам дадим, но, товарищи, разрешенья на выдачу я должен испросить у продкома, сам распорядиться, сам выдавать хлеб не могу, товарищи...

— Ааа...

— Грабить можешь, а выдавать нет?

— Дай ему!

— ...Советская власть — ваша власть!

В это время кто-то ударил Ванякина по затылку мерзлым коровьим говяхом, взметнулось множество рук, солдаты дали залп в небо, мужики кинулись в церковную ограду к поленнице, и, кому не досталось поленьев, те выдергивали из плетней колья...

Была драка, и после драки с исполкомского крыльца говорил сапожник Пендяка:

— Мятеж наш законный, давай хлеб делить! Кто не пойдет, не дадим ни зерна. Давайте выступать всем миром, тогда нас ни одна пуля не возьмет... Мятеж наш, очень просто, законный.

Давя друг друга и размахивая мешками, кинулись на зады, к общественным амбарам.

Хлеб делили по три пуда на едока.

Через неделю Ванякин послал в город доклад: „Ликвидировав в Хомутовской волости саботаж, вырвав корни, питавшие массу духом ярости, возмущения и непонимания революционных задач, приходится сказать, что саботаж подняла беднота, подло обманутая проклятой кулацкой сворой.

... Столкнувшись вплотную с причинами злого упора, достигнув источников его и ужаснувшись, приходится подтвердить факт гнусного предательства и, углубляясь еще более в подробности, приходится разжечь ненавистью сжатые уста и бросить в лицо виновников слово негодования, презренной краской освещающее истину и клеймящее несмываемым пятном позора выступление кулаков и их подголосков.

... В моем отряде покалечено до восьми человек, среди населения убит председатель

волисполкома Утюгов, а раненых учесть не удалось, так как их попрятали. Препровождаю четырнадцать человек арестованных и среди них солдатку Фетинью Полозову, она хотя и бедная, но дура-баба и проучить ее надо.

... Приняты все меры, и можно питать надежду, что в коротком будущем отношения умиротворятся, и жители, за кулаков не ручаюсь, жители объединятся в одной обще-советской группе, но при условии упорной агитации в пределах партийного ученья и на самых маленьких началах коммунизма.

Прошу настоящий мой нехитрый доклад отослать в центр для сведения высших товарищей, как нам, работникам на местах, приходится выворачиваться и все-таки доводить свое дело до революционного конца.

Хлеб трудящимся во что бы то ни стало, а также да здравствует мировая пролетарская коренная революция!

Алексей Ванякин“.

... На заре, когда хомутовские мужики поехали в луга за сеном, когда в печках катался,

предвещающая оттепель, белый огонь и над избами пушился светлый дым, — на заре над селом взвился страшный бычий рев, перевитый тревожным гудком.

Мальчишки раскидали по улице крики:

— Нархист!

— Нархист!

Анархистом звали могучего и яростного мирского быка. По лютости своей он был подобен зверю. Держали его взаперти, но не раз, в припадке гнева и молодого озорства, он рвал ореховую цепь, которой его прикалывали к колоде, ломал загородки... Вырвавшись на волю, нагонял страху и поддевал на рога все село. Ловить его выходили всем миром, буян играючи разметал толпу и, втаптывая в землю неувертливых, уносился на зеленое приволье лугов. Приплод давал первеющий и жил в большом почете: случилось как-то Анархисту заболеть, и отец Выньяминь, подпоенный деревенской молодежью, отслужил над ним благодарственный молебен, чему немало смеялась вся волость.

Прослыша крики мальчишек, сельчане вылетали из дворов и бежали на зады, откуда лился тоскующий и неистовый рев.

— Ну, мотри, опять не слава богу.

— Похожа.

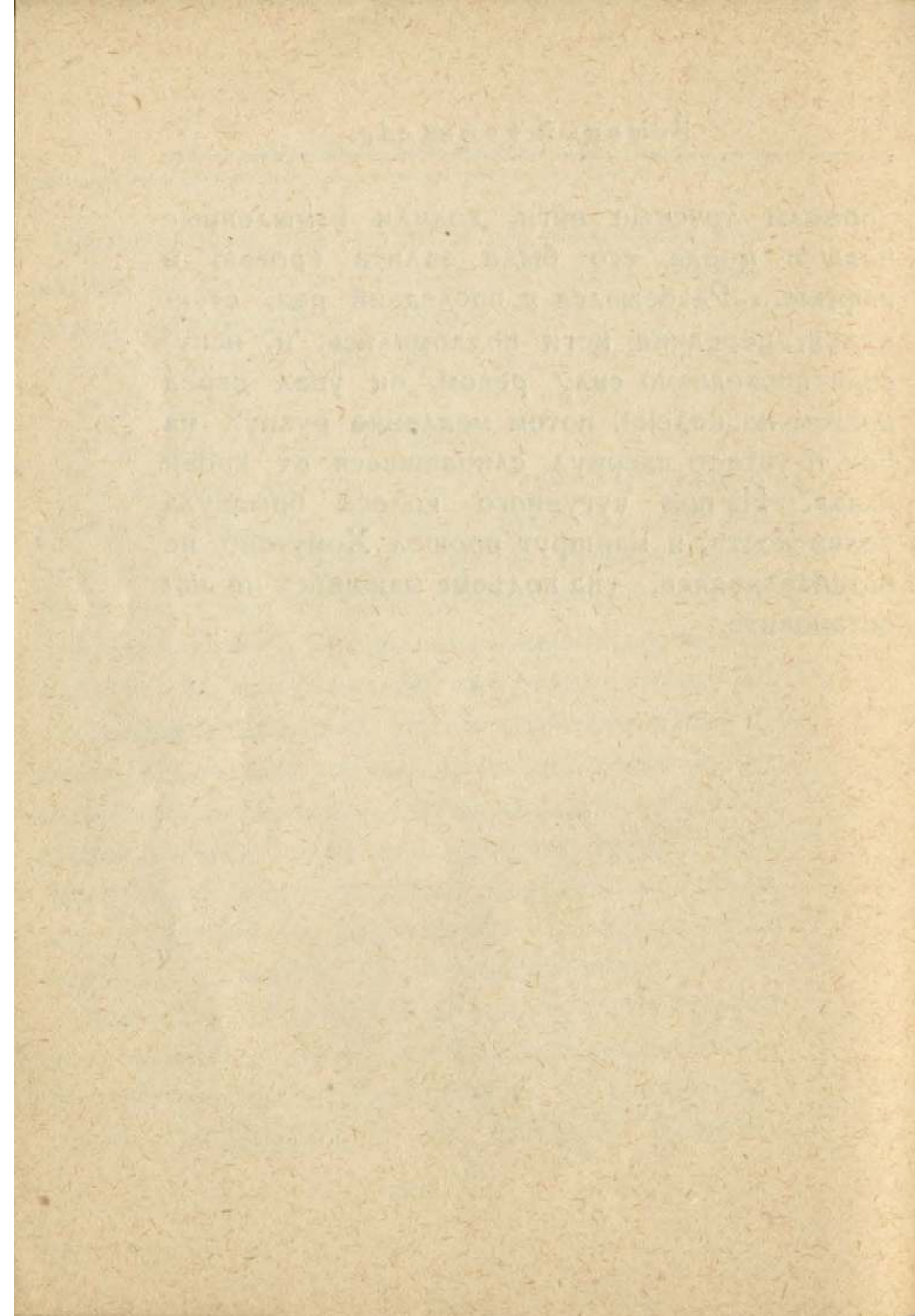
— Веревки тащи, веревки.

По бровке насыпи — на подъем — царапался хлебный маршрут; паровоз буксовал, устало отпыхивался, стонал и с таким трудом тащил свой хвост, что продвигался не больше одной сажени в минуту. На полотне Анархист хмыстал себя по бокам тяжелым, как канат, хвостом, с пудовой маклышкой, метал копытами песок и, пригнув до земли голову, со смертельным ревом стремительно бросался встречь паровозу и всаживал могучие рога в паровозье пузевое: уже были сбиты фонари, обмят передок, но паровоз — черный и фырчащий — наступал — на подъеме машинист *не мог* остановить.

Два рева старались перебороть друг друга и заглушали крики набежавших и суетившихся вокруг людей. Анархист снова и снова ударялся с разбегу, рога его уже были сломаны,

Бешеный комиссар

дрожали точеные ноги, ходили взмыленные бока и морда его была залита кровью и нефтью... Разбежался в последний раз, стукнулся, передние ноги подломились, и, испуская последнюю силу ревом, он упал перед врагом на колени, потом медленно рухнул на бок и устало свернул слипавшиеся от крови глаза. Из-под чугунного колеса брызнула белая кость, и маршрут прошел Хомутово, не останавливаясь, — на подъеме машинист не мог остановить.



ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
В. Полонский.— Артем Веселый	3
Автобиография	23
Россия, кровью умытая	25
Вольница	91
Бешеный комиссар	119

А. М. ...
...
у А. М. ...

Цена 1 руб.
Р.



21

СКЛАДЫ ИЗДАНИЙ:

Харьков, ул. Свободной Академии, 5. Тел. 10-07.

Москва, Кузнецкий мост, д. 5/15, уг. Б. Лубянки.

Телефоны: 3-01-99 и 3-17-55.